

Е Л Е Н А

ИМПЕРИЯ Ч

КРЮКОВА

Елена Крюкова

Империя Ч

«Автор»

2013

Крюкова Е. Н.

Империя Ч / Е. Н. Крюкова — «Автор», 2013

ISBN 978-1-291-60345-3

Русские Ромео и Джульетта на Востоке. В Иокогаме. В Сибири.
В Шанхае. Моряк Василий и девочка Лесико. Странники.
Скитальцы. Знаменитая шанхайская певица Лесико Фудзивара, русская
эмигрантка, помнит все. Она глядит через моря разлуки. Через горы ужаса и
торжества. Она знает: когда-нибудь седой Василий встретит ее – и не увидит
ее морщин. Они обнимутся, понимая: нет времени. Они узнают вкус вечной
любви. Ожог любимой руки. Свет единственных глаз.

ISBN 978-1-291-60345-3

© Крюкова Е. Н., 2013

© Автор, 2013

Содержание

Часть первая. Ямато	11
Моряк	11
Ночная бабочка	22
Побег	46
Поединок	56
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Елена Крюкова Империя Ч



Елена Крюкова

– ...я умираю...

да что это, Боже?!..

– Это любовь. Это ВСЕ. Это – то же, что и молитва.

– Да, Господи, да!..

– Это тебе – от Меня – навсегда.

Меднозеленый Будда спокойно и внимательно глядел на меня узкими медными глазами, и выпуклые веки и брови медно поблескивали в свете лампад и плошек с бараньим жиром. Я протянула к нему руки, стоя перед ним на коленях на каменных плитах дацана, сторбившись в молении, уткнувшись лбом в истертый тысячью ног гранит.

– Великий Будда, нежный царевич Гаутама, мудрый Сиддхартха, принц Шакьямуни, забормотала я сбивчиво, горячо, не сознавая, что лепечу, называя медного человека разными, забытыми мною именами, – помоги мне... верни мне!..

Медный бог глядел на меня равнодушно и гордо. Его узкие глаза летели надо мной, как тень стрелы отца.

– Что тебе вернуть? Молодость?

Я не поднимала головы от гранитной плиты.

– Любовь?

Он видел, как дрогнула кожа на моей обнаженной спине, как покрылись испариной выступы хребта.

– Зачем тебе любовь? Счастье человека в том, чтобы освободиться от страстей. Твой Христос говорит...

Я резко подняла голову. Кулаки мои сжались. Наши глаза скрестились – его, медные, бесстрастные, и мои, горящие. Голая женщина на полу храма со сжатыми бессильно кулаками перед медной статуей – это, право, смешно. Кому ни рассказать.

– Не трогай Христа! Бог есть любовь – это правда!

– Тебя спасла эта правда? Тебя она сделала счастливой?

Я молчала.

– Ты живешь на Востоке, и твое дело – познать обычаи и мудрости Востока, полюбить их и подчиниться им. Ты же сама меня просишь. Ты первый раз на празднике Цам, ты многого не знаешь. Тебе вернуть человека, которого ты потеряла? Ты знаешь, что ты вернешь его лишь в будущем перевоплощенье?

– Будущего перевоплощенья нет! Есть будущая жизнь! – крикнула я, стоя на коленях. Масляные светильники горели ровно и тихо, пламя чуть отклонилось от моего дыханья. Из темных ниш дацана мрачно и холодно, улыбочиво и хитро глядели восточные божества, скрещивали руки, ноги, подмигивали мне. Белая скуластая Тара, с лицом широким, как тарелка, полная плодов любви, глядела на меня нежно и страстно, с медовой полуулыбкой, уголки губ ее приподнимались смешливо. Ее рот был похож на изогнутый монгольский лук.

– Не отрицай того, чего не знаешь, – медленно сказал, неслышно, меднозеленый Будда, и его неподвижные глаза блеснули горечью, будто слезой. – Узнаешь – не захочешь возврата. Почему ты просишь для себя? Почему не просишь для людей? Не просишь, чтобы оборвалась нить бесконечной Зимней Войны, идущей скоро сотню лет?

Я сложила лодочкой руки на груди. Дым зажженных сандаловых палочек обнимал меня, обволакивал, тонкие белесые усы духмяного дыма сходились ореолом над моей головой, обворачивали фатой лицо.

– А если я и об этом попрошу?..

Будда улыбнулся. Белая Тара повторяла его улыбку за его зеленым плечом.

– Я могу исполнить только одну просьбу.

Я склонилась опять перед медной фигурой, спокойно застывшей среди дацана в позе лотоса. Взяла в руки светильник, горевший у его вывернутой наружу голой медной ступни.

В плошке с жиром торчал туго скрученный фитиль, черная тычинка веревки обгорела, пламя вспыхивало и билось в моих руках, как желтая бабочка лимонница. Я прикрыла огонь ладонью, защищая его от дыханья, от ветра. От зла защищая его.

– Если бы я была слепая, о Будда, – сказала я глухо, почти не разжимая губ, – я бы сидела со светильниками у входа в темный дацан и каждому, да, каждому входящему в храм давала бы светильник, протягивала свет. И человек брал бы из моих рук свет и шел дальше во тьму со светом в руках. А я бы свет не видела. А только давала его, давала. И только один раз, Будда, я дала свет, и мне протянули свет в ответ! И я увидела! Я прозрела! Однажды! Почему ты не хочешь вернуть его мне?! Почему?!

Будда молчал. Молчала, улыбаясь, Белая Тара.

Бедные. Они могут делать чудеса. Они не знают, как пахнет размятый в пальцах ком чернозема. Как ослепительно и цветно, пучками и копьями алых, золотых и синих огней, блестит на Солнце свежеснеженный снег. Как горчат на зубах березовые почки, как горчит схваченная морозом рябина, как сладко жжет губы шиповник, забытый птицами на колючих ветвях в лесу. Как, светясь, ходит большая красная рыба в ночной теплой реке, а на волне дрожат отраженья звезд – голубой Веги и алмазного Денеба. Жизнь велика. Бесконечен праздник Цам. Я ступила в след своей смерти, и я иду навстречу жизни, я делаю круг и замыкаю его. Разомкни его, Будда. Разомкни, если сможешь.

* * *

– Не кажется ли вам, что вы забываетесь, господин Башкиров?!

– Нимало, дорогая госпожа Фудзивара. Ничуть. Я-то знаю истинную цену вашим бриллиантам, мехам и... прочему. Ты! – Говоривший резко встал с кресла, отпихнув его ногой – оно шумно откатилось в угол богато обставленной гостиной. – Ты как была моей, так моей и останешься. Моей вещью. Моей бриллиантовой запонкой. Моей закуской после выпивки. Передо мной ты можешь не притворяться. – Он взял женщину за талию обеими руками, встряхнул, как грушу, и грубо, зло притиснул к себе, к полам черного тщательно выутюженного пиджака и шелковому лоску жилетки. Брелок больно врезался женщине в грудь, она искривила красивый, ярко накрашенный рот. – Играй перед кем другим! Кривляйся на сцене! Ресторанные едады все равно съедят тебя с потрохами любую: жареную, пареную. С ними-то ты не притворешься!.. А почему со мной?!..

Высокий бритый мужчина, в щегольских надменных усиках, лохотный, с презрительно и злобно изогнутыми сластолюбивыми губами, красно горящими плохо скрываемым вождением, с прищуренными масляными глазами, кричащими молча: мне дозволено все, потому что я так хочу!.. – оттолкнул от себя женщину, как давеча кресло, и она, так же, как бездушная мебель, тупо полетела в угол. Зацепилась ногой за торчащую вверх ножку кресла, ударилась, упала. Застонала. Прикусила губу. Неужели ты будешь стонать и плакать перед подонком, гордая актриса Фудзивара?! Да, ты ресторанная певичка. Но у твоих ног весь Шан-Хай. И весь Китай. Ты, плачущая перед русским эмигрантским бандитским отребьем, блестящая дама, большая артистка. Никогда!

Она встала. Поправила, задыхаясь, черный туго завитой локон на виске. Движеньем плеч вернула на место корсаж, сползший вниз и чуть обнаживший ее роскошную смуглую грудь. Застегнула расстегнувшийся в ухе замочек золотой серьги. Розовый жемчуг перламутрово, тускло сверкнул в мочке в свете массивной, отяжеленной, как лоза – гроздьями, хрустальными шариками люстры. Тот, кого назвали Башкиров, так же хищно шурясь, смотрел безотрывно на смугло-золотые ключицы, на нежную черную ягоду соска, дразняще видневшегося из-под кружевной батистовой пены. Он неимоверно, неистово желал эту женщину. Ее и больше никого. Когда-то он мог запросто насиловать ее, одурманенную побоями, пытками и уколами тайных китайских снадобий, у себя в отеле, в собственном номере. И он, глупец, этого не делал. А ведь тогда она служила ему. Она была в его руках. И Сяо Лян и другие его помощники, ослы, вонючая падаль, тоже могли это проделывать с ней. Ведь это проделывали с ней все, в чьих руках она

побывала. Так почему же, черт побери?! Только лишь потому, что она освободилась от него, ушла, убежала, разбогатела, обросла слугами и служанками, особняком, вшивыми побрякушками, стоящими тысячи юаней, идиотскими манто и шубами, метущими шан-хайскую пыль, снег и грязь?! Обросла, дьявол ее задери, любовниками и поклонниками, ползущими к ней на пузе: «Ах, госпожа Фудзивара!.. Ах, ваш автограф!.. Ах, поцеловать вашу ручку!.. Ах, я к вам приду сегодня ночью!..» – и ведь приходят! А его – к ногтю! Его – в расход! К черту его! Так?!

Она стояла спокойно и смотрела на него презрительно. Грудь ее поднималась часто, она дышала прерывисто. Она понимала, что скандал не закончен. Но она была все-таки у себя дома, в особняке, и, если он позволит себе то, что может ее напугать или, не дай Бог, искалечить, – она позовет на помощь; рядом с ней, в других комнатах, – слуги; она позвонит в колокольчик, в маленький колокольчик, вон он, на столе лежит, руку протянуть...

Она не успела протянуть руку. С проворством тигра Башкиров схватил ее за запястье – так сильно, что нежные косточки хрустнули, едва не сломавшись. Стона он на сей раз не услышал. Женщина размахнулась и свободной рукой влепила ему увесистую, звонкую пощечину.

– Ты. Хватит с тебя? – прошептала она быстро. – Я знаю приемы вин-чун лучше, чем китаянка. Нас в Ямато, в доме Кудами, учили обороняться от таких, как ты. Попробуй только сунься еще.

Она ловко вывернула захваченное запястье. Перехватила рукой его руку и завела ему за спину. Тут уже застонал он. Немедленно, оценив происходящее, тонко, хищно улыбнулся.

– Твоя взяла, гадина. Пусти.

Она отпустила его. Отряхнула голую руку от плеча до ладони, будто выпачкалась в чем-то противном, липком.

– Почему же ты тогда не боролась со мной там?.. у меня в апартаментах?.. почему не показывала класс?.. а вдруг ты мастер, вдруг у тебя черный пояс...

Она улыбнулась ответно, но не хитро и зло, а – неожиданно – открыто, весело.

– Потому что там был не только ты один, глупый Башкиров. Там были еще все эти твои зубастые китайчата. Они бы отделали меня по одному твоему приказу... взгляду. Я была там в западне. – Она вздохнула и отошла к зеркалу, и стала глядеться в него, задумчиво перебирая кружева на смуглой груди. – Моя песенка там была спета. А теперь я пою свою песню. Иди отсюда прочь. Не преследуй меня. Я никогда не стану твоей любовницей.

Она глядела на себя в зеркало, играла со своими нагрудными кружевами и не заметила, как он подкрался к ней сзади, закинул руку ей за горло, крепко захватил, она захрипела, он подставил ногу, повалил ее, она упала, не успев и прокричать, позвать на помощь, – как это у тебя получилось, мужик, зло подумала она, надо бы запомнить этот внезапный мастерский захват, – и там, на полу, он зацепил скрюченными пальцами ее кружевной корсаж и с силой рванул бархатную ткань вниз, швы затрещали, бархат порвался с громким треском, и смуглая красивая грудь, не стесняясь, выпорхнула наружу – а мужчина дальше, бесстыдно и грубо и жадно, оголял ее, его ногти, раздирая ткань платья, царапали ей ребра, живот, он одной рукой, согнутой в локте, держал ее за шею, не давая вырваться, заставляя хрипеть и извиваться, а другой звериной хваткой срывал с нее роскошные, царские, жалкие тряпки.

– Пусти!.. я все равно... никогда... твоей не буду...

Он отбросил в угол скомканые бархатные лоскуты. Перед ним была ее голая грудь, голый живот, – о них только мечтали ресторанные мужики Шан-Хая, ночи напролет просиживавшие в «Мажестик» и пожирающие ее, поющую на сцене, танцующую между столиков, тупыми тусклыми глазами. А она знай, плясала да пела себе. Еще бы. Знаменитость. Такие деньжищи огребать. Гляди, Башкиров, еще немного, и она будет жить лучше, чем ты, хоть ты и бандит первоклассный. Вот ее шея. Вот ее грудь. Он изогнул шею, отвернул ладонью от своего лица ее лицо – пусть уж лучше кусает ему пальцы, чем вцепится в рожу, изуродует до шрама,

как тигрица!.. – и жадно, по-волчье – так волчата припадают к соскам волчицы – присосался губами и зубами к ее вставшему дыбом черному соску.

– Ты!.. сволочь... Башкиров... никогда...

Хрипи, хрипи. Бесись. Моя взяла.

Он налег на нее всем телом. Она, вся голая, неистово билась под ним, пытаясь освободиться. Он придавил ее своею тяжестью. Вот так лежи. Дергайся. Сейчас. Она выпростала из-под него руки и отчаянно ударила его кулачками по закутанной в пиджак спине. Пробовала закричать – он поймал готовый вырваться крик, ткнул локтем ей в зубы, разбил губу. По ее лицу потекла кровь. Он вытащил из кармана, где мотался брелок, надушенный фуляр и всунул ей в рот. «Временно, – проклокотал он, – до тех пор, пока я не распорю тебя собой. А потом выну платок. Чтобы поцеловать твой кровавый ротик. Я же так хочу его. Ну!» Она билась, вздергивала ногами, пытаясь ударить его ногой, коленом между ног. Он сунул ей кулак под ребро, там, где пряталась печень. «Следов не оставлю, а убью», – выхрипнул. Она не сдавалась. Голое тело под ним металось, содрогалось, локти ударяли об пол, пятки били его по щиколоткам. Боже, почему одно и то же событие между женщиной и женщиной Ты сделал одновременно и любовью, и ненавистью?! Если он изуродует ее, испортит ей лицо или тело – это полбеда. Она заgrimирится. Замажет прореху пастой, кремом, запудрит пудрой. Сломанную кость сростит. Увечье вылечит – китайские врачи совершают чудеса излечения. Синяки, переломы – плевать! Если он искалечит ее чрево, а значит, и ее душу собою – вот где она сойдет с ума. Излечивают ли китайские чудодеи сошедших с ума?!

Люстра погасла.

Они возились на паркете, продолжали бороться. Тяжело дышали. Если б кто открыл дверь, понял бы: двое любовников играют друг с другом, решили на полу заняться любовью. Только у любовницы изо рта торчит белая окровавленная тряпица. Да щеки и подбородок любовника уже кровоточат. Женские ногти – опасное оружие. Она все же изловчилась и царапала ему лицо.

Он, лежа грудью на ее груди, расстегнул брюки, рукой грубо втиснулся между ее туго сдвинутых ног, молчаливо проклиная его. Она ощутила, как мужское орудье – а сколько она видела и осязала разнокалиберных мужских орудий на женском любовном, страдальном театре войны – пытается пробить, протаранить защищаемое ею пространство, вклиниться, завладеть, овладеть. Раковина сомкнулась. Он силой, рукой, пальцами, кулаком раздвигал створы. Разорвал нежную кожу до крови. Она забилась, как в судороге.

– Я овладею тобой! Ну... еще...

– Нет... никогда!..

И, когда она поняла, что победа все равно будет за мужчиной, что его наглые пальцы, его живая дубина уже в ней, уже втыкаются в нее и разрывают, а он, дрожащий от похоти и ненависти, уже пускает слюни, торжествуя свой мужской отвратительный праздник, – когда ее ноги сжались мертвыми клещами последний раз, пытаясь зажать каменными мышцами женское беззащитное отверстие и остановить грядущий ужас унижения и боли, да ничего не вышло, таран таранил, горло хрипело, тело неистово дергалось в бессильи, – дверь распахнулась, со стуком отлетела, ударилась о стену, и в комнату влетела белая от испуга китайская девочка-служанка в белом фартучке, прижав ладошку к открытому для крика рту. Девочка застыла в немом потрясеньи, увидев на полу два извивающихся тела – хозяйкино и чужое, мужское, – закричала тонко, как цапля на болоте:

– Госпожа!.. Госпожа!.. Вы простите, что я ворвалась!.. Столь поздний час!.. Но он!.. он!.. он прорвался сюда, к вам, через все запоры и замки!.. он через главные ворота прошел!.. он как чудовище, этот старик!.. мы с Цзян пытались остановить его, куда там!.. он как ветер!.. вот он...

Девочка затравленно оглянулась. За ней, за ее спиной на пороге гостиной вырос человек. Лысый, с совершенно голым черепом старик, коричневый, изрезанный морщинами вдоль и

поперек, вбежал в комнату. Лежащие на полу глядели на старика. Старик глядел на них. Его лицо светилось во тьме.

– О, Будда, слава Тебе, я успел, – пророкотал он низко, глухо, – успел. Мне было виденье. Я узнал у Будды, где это происходит. Я успел. Ты! – он протянул указательный палец к лежащему на полу навзничь Башкирову, даже не успевшему застегнуть ширинку. – Закрой на замок одежду свою. Убей вождельню. Эта женщина – не для тебя. Встань!

Мужчина поднялся, поправляя досадливо ремень. Злоба выступила красными пятнами у него на исцарапанных скулах.

– А ты кто такой, старик? – спросил он по-китайски. – Откуда? Это дом госпожи Фудзивары. Сейчас ночь. Она делает что хочет!

– Это ты делаешь что хочешь, а не она, – строго и жестко сказал старик. – Она этого не хотела. Убирайся!

– Кто ты такой, чтобы со мной так разговаривать?!

Вместо ответа старик в темноте гостиной распахнул перед Башкировым свой старый бязевый халат.

Мужчина всмотрелся. Он смотрел долго – казалось, он рассматривает не голое тело человека, а рисунки, живопись или читает тайные записи. Закрыв глаза. Побелел – это было заметно даже в сумраке ночной залы. Поклонился. Попятился. Вышел.

Старик наклонился над женщиной, раскинувшей руки на полу, будто она была живой крест.

– Ты жива и цела, – внятно сказал он уже на другом языке, но женщина, вздрогнув, закивала головой – она знала этот язык и прекрасно поняла, что он сказал ей. – Я спас тебя. Я ухожу. Мы увидимся еще в этой жизни.

Он шагнул к двери. Та, которую называли госпожа Фудзивара, вынула испачканный кровью белый фуляр изо рта, кинула прочь и крикнула вслед уходящему:

– Кто ты! Кто же ты! Спасибо тебе!

Старик обернулся еще раз, на прощанье, и произнес медленно и отдельно, чтобы она понимала все слова:

– Я уже однажды в жизни слышал, как ты кричишь. У тебя звонкий голос. Готовься к празднику Цам. Готовь руки для крыльев.

Он сверкнул узкими стрелами глаз. Вышел вон, хлопнув резной дубовой дверью.

Девочка-служанка стояла отупело, открыв рот, прижав загорелые ручки к груди, всхлипывая, и глядела на вымазанный кровью рот госпожи.

Часть первая. Ямато

Моряк

Снежная равнина. Белая, молчащая сурово пустыня.

Я бы хотел с Тобой не встречаться. Мы и так две звезды. Мы и так – двойная звезда, крутящаяся вокруг невидимого магнита, два колокола незримого града. Град давно утонул в бездонном лесном озере. А как чисты летом нейские белые пески. Лесная речка Нея, красивая, нежная, как Ты.

Ты, Ангел мой. Зачем я встретил Тебя. Ты слишком красива и слишком нежна для пустого и злобного мира. Нет, неправда, мир не пуст и не злобен. Таким его сделали люди. Таким его и видят. Я во всем мире вижу Тебя. Верней, мир видит Тебя – моими очами.

Я бы хотел с Тобой не видаться, но приезжай. Мое поверье: не встречаю – приедет; буду встречать – не приедет никогда. Я не встречаю Тебя. Я не хожу туда, на лесную дорогу, к старой лесопилке, где золотые опилки обильно устилают могучие сугробы золотыми коврами. Ты не придешь. Ты не будешь стоять на косогоре, оглядывая посад, речку подо льдом, лесопилку, золотые сугробы, заброшенный льнозавод, корабельные сосны, краснолесье, чистое зимнее небо восторженными, широко распахнутыми глазами. Даже призрака Твоего тут не явится. Тут буду только я – уже не тело, не дух, не призрак, не ноги-руки, не мясо, не кожа, не кости: я – одна живая любовь. Одна сплошная, великая, сбывшаяся на весь свет любовь к Тебе.

Да, родная, жизнь моя исполнилась. Как я хотел ее! Как я желал ее! И вот она сбылась. Как мне жаль несбывшихся. Как я плачу, смеюсь над ними. Ты заслонила мне все, всех. Я называю Тебя тысячью имен, жизнь, и только одним именем. Я сам Тебе его дал. Сам Тебя им нарек. Крестил, как священник крестит младенца в купели.

Я так люблю Тебя, что мне кажется – так не бывает. Но это есть. И усиливается, прибывает, идет волна, вздымается цунами. Это белая цунами, и белый Божий сугроб страшно рушится на меня, забивает мне дыханье, легкие, подступает под ключицы. Ты мое море. Ты мое небо. Ты мое дерево; моя сосна, и шумишь надо мной, и я Твой ветер, я в Твоих ветвях-волосах, я Твой снег на Твоих ветвях-руках. Ты моя музыка, ведь Ты умеешь играть на всех музыкальных инструментах, на ксилофоне и органе, на гитаре и дудочке-жалейке, на клавесине и сямисене. Как, и на сямисене тоже?! Да, и на сямисене. Ты и на мне играешь, Ты перебираешь пальцами мои худые ребра, Ты вдываешь мне нежными губами ветер и вьюгу в открытый жадно навстречу Тебе, изголодавшийся по Тебе рот, Ты гладишь меня ладонями по тяжелым медным тарелкам и плитам груди и спины, Ты трогаешь, как пастушонок трогал ту, баснословную арфу, живую душу мою, – Ты играешь всем мною радостный, яркий гимн Солнцу, Луне, звездам, снегам, деревенским печам и сеновалам, длинным, краснотелым, лохматым соснам, ледяным озерам и рекам, ледяному моему миру, в коем мы с Тобой – горячие и живые, и я Твоя горячая арфа, я Твой пылающий, бьющийся в Твоих руках сямисен. Я Твой гудящий всеми стволами под ветром, всеми серебряными трубами, наполненными воздухом и светом и воплями и стеланиями, рыдающий орган, встающий крепостью, железной стеной, защитой яростной и неколебимой между Тобой и всем, что хочет Тебя убить, пожрать, растоптать, выпить. Ты только моя чаша, и пью из Тебя – я. Как я люблю Тебя!

Я хотел кричать о моей любви на весь свет. Но свет глухой. Он оглох навек. Он ничего не слышит. Ему мы не нужны. Как бело и чисто, как печально за окном.

Моя изба. Изба, где Ты была; где Ты еще будешь когда-нибудь; где Ты не будешь уже никогда. Икона в углу. Божья Матерь Казанская. Она чуть раскоса, как Ты. Она похожа на Тебя. Все, все на свете похоже на Тебя.

Пойду принесу дров, растоплю печь. Ты так любила глядеть в печь, на огонь. Он плясал и томился, огонь, он целовал мое лицо, как Ты. Мы сидели вместе у огня, и я сказал, следя пляску огневых лепестков: куда я Тебя за собой тащу, ты молодая, свежая, а мне помирать пора. Ты смолчала. Обняла меня. Поцеловала меня. И я был с Тобой вместе так, как не был с возлюбленной ни один любовник никогда от Сотворенья Мира. Аминь.

Запыляет печь в избе. Затоплю печь и в бане. Как ты любила нашу баню! Это все наше. Это все здесь Твое, а Тебя нет. Нет и не будет. Я же Тебя не встречаю. Я так вижу Твое золотое нагое тело в черноте, в сгущенье страшной ревнивой сажи и тайного мрака бани. Ты светишься. Господи, какая же Ты красавица! Я плещу на раскаленные камни полковша, и жар вырывается из каменки, обнимает нас. И мы обнимаем друг друга.

Мы всегда будем обнимать друг друга. Даже когда...

Какая белизна. Белизна и чистота вокруг. И холод, лютый холод. Выйдешь на крыльцо – из ноздрей, изо рта вылетают вихренья пара и тут же застывают, сыплются серебряными искрами. Ночью звезды звенят. Ледяная Нея тоже звенит – скорбно и чисто. Звери нежно ходят в лесах. На снегу их следы, иероглифы. Иероглифы нежности моей к Тебе. Я Твой зверь; я Твой алый Марс над зимней веткой. Я алый шиповник у Тебя во рту, и я Тебе даю его вкусить из открытых, целующих уст моих, как даю Тебе и все сердце мое.

Ты красавица. Грехи Твои отпустятся Тебе. Я Тебе их отпускаю, я.

Ты моя тайная жена; как же я могу жить без Тебя? Я и не живу без Тебя. Я просто, мертвый, сижу перед окном. Я не в силах двинуться. Мы с Тобой прожили тысячу жизней. Зачем нам еще одна?

Богородица с иконы глядит темно, бездонно. Белый снег лучами бьет мне в мертвое лицо. Я не могу без Тебя. Я не буду без Тебя. Ты слышишь, я не буду.

Корабль мой тонул, и я спасся. Я выплыл. Я встретил Тебя. Все свершилось. Чего же тебе еще надо, жадный, жалкий человеке?! Чего ты еще хочешь от жизни?!

Белая плащаница снега. Белая, пустая, не развышитая ничем. Белый холст. Белое море. Я не хочу, чтоб Ты завернула меня в белый холст. Я хочу его расстелить во всю ледяную ширь: под нами. Ты помнишь нашу свадьбу?!

Ты все помнишь?!

В глаза был как песок насыпан. Песок, бешеная боль, разъедающая покровы, чертов перец, Адский огонь, сжирающий изнутри. Он не помнил, как он выплывал, выплевывая соль и горечь – да и помнить было незачем.

Пусть Бог все за него помнит.

Броненосные крейсера, многострадальный линкор. На каком он плыл? У Господа в реестрах и графах тщательно выведены Ангельскою, каллиграфьею вязью все названия – «Андрей Первозванный»... «Император Павел Первый»... «Баян»... «Паллада». Гнев, о богиня Войны, ты направь неизбывный... Он бодал головой волны, зажмурясь, не видя. Руки вымахивали мерно, двигаясь сами собой, страшно, бездумно. Ногами он чувствовал: отмель. Или ему так только казалось? Бесконечно спасенье. Невозможно спасенье. Спасется лишь тот, кому суждено.

Вот она, земля. Боже. Какое наслажденье. Лучше всей любви на свете. Легче смерти. Он наконец достиг тебя.

Еще гребок скрюченной руки, еще – уже шлепок по твердости мокрого песка. Грабли охолодавших кистей неловко, больно зацепили камень. Круглая ледяная галька, обточенная ветром и временем – он не видел ее, лишь чуял: веки залеплены солью, ресницы смерзлись. Слава Богу, берег близко. Их учили: в холодной воде утопающий при кораблекрушении моряк, слепо барахтаясь, живет пять, от силы десять минут. Минута. Что такое минута? Минута может быть равной веку. Дню. Или... Может статься, он целый день плыл? Ну да, целый Божий день, и Ангелы, смеясь, реяли над ним, распевая железные песни. Ангелы, шая, били кочергами в переборки корабля, стучали по ахтерпику, оторвали могучие винты. Ангелам было все нипочем. Они смеялись.

Сраженье. Он выжил в сраженье. Он спасся.

Он умрет на этом холодном безлюдном берегу, один, без еды и воды. Без жратвы человек продержится недели две. А морскую водицу не попьешь. Ох, не попьешь, мил человек. Ах, водочки бы тебе сейчас! Хоть глоточек! Фляга... оторвало... шторм... взрыв...

Он прижмурился. Берег, сияющий в ночи, счастливый, вожделенный, молчал под его животом. Земля пласталась перед ним. Она была женщиной. Он был мужчиной. Он был Океан, нарочно вочеловечившийся, а она была просто земля, землишка, бабища, зачуханная и грязная, с задернутым подолом осенних прибрежных кустов и разлапистых, изумрудно-колючих сосен, и снег в виде драных и старых песцовых воротников лежал на ее каменных могучих плечах. Такой бабе дрова рубить; рельсы чугунные на плечищах таскать; сваи забивать. А мы ее – в ткани парчовые... звездами обсыпая... ручки речек целуем... а она нам – в рожу – да ураган: плюю на тебя! Сгинь!

Не сгину. Слишком долго я боролся за жизнь.

Он навалился на землю всей тяжестью. Тело содрогнулось. Под ключьями чудом не солевшей в огне корабельного пожарища, не сорванной когтями шторма, облепившей его, как ряска – пруд, матросской одежды играли и бугрились живые мышцы. Он был человек, и он жил. Все жилы в нем напряглись. Внутри него вырос огромный огненный ком радости. Счастье! – хотел крикнуть он, да горло сдавило: не посмел. Ведь счастье, что он остался жив! Он. Один. Он выплыл. Он победил. И... никто?!

Земля под ним изгибалась, извивалась, как змея. Она и была змеей – черно-желтой, грубокожей, гладкоспинной, сверкающей под тысячью звезд. Он яростно слизнул соль с расколовшихся, как арбуз, губ. По подбородку текла кровь. Это чудо – он дышит; он слышит; он осязает, он обнимает. Он раскинул руки, будто распятый, распластался на земле, прилип к ней, раскорячился лягушонком. Жизнь! Жить! Отныне! И навсегда! И всегда! Моя земля. Моя. Пусть и чужая. Я люблю тебя. Я возьму тебя. Ты моя. Иди ко мне.

В нем, внизу и далеко, в ослепшем и гудящем всеми натруженными в борьбе со стихией мощными мышцами, напряглось и зазвенело. Он понял и узнал себя; свою природу. Бунт природы был бешен и смешон. Здесь, на чужом восточном берегу, спасшийся со взорванного неприятелем корабля, он до молниного ослепленья просиял и задрожал – он, жалкий, мокрый, голодный, задохнувшийся в пучине, слабый, в драной прилипшей к ребрам форме № 2, со струйкой крови, медленно ползущей по подбородку: он с изумленьем наблюдал, лежа ничком на влажном песке, на обкатанных морем гольшах и острых рубилах, как земля, обнимаемая им, подчиняется ему, как покорно и страстно разымает перед ним закаменелые члены, как вольно и доступно раскидывается, не переставая дрожать, теплея, горячая, вспыхивая жадным огнем, нестерпимым, приносящим боль. Боль! Боль любви. Как давно он не испытывал ее. Как сладко вновь ее испытать. И неправду говорят, что любовь – это смерть. Нет. Любовь – это жизнь. Любовь – это еда и питье. Любовь – это... Иди ко мне. Ко мне, земля. Я твой владыка. Я твой властелин. Я сомну тебя; войду в тебя; я, появивший тебя вновь, сотворю тебя по образу и подобию своему. Ибо я мужчина, а ты женщина. Иди!

Разбросанные, длинно вытянутые по песку руки загребли ногтями шуршащие камни. Рот кунул, вдохнул и вобрал песок. Вздрыбленное под ним горькое, горячее, каменное обратилось в безумье раскаленной лавы, в подземный смерч. Он превратился в живой вулкан. Задымился. Содрогулся. Перекатился на спину. Застыл.

И земля, удовлетворенная, застыла вместе с ним.

И наконец он разлепил соленые глаза.

Над ним висели, маячили звезды – звездные тучи разбредались по небу, сшибались лбами, как серебряные овцы. Овцы, небесные овцы, у вас в шерсти колокольчики, у вас в шерсти жемчуга. Кто губами соберет с шерсти вашей капли красной росы?

Он улыбался, отдыхая, живя. Он лежал на чужой земле. О нет. Не чужой. Ведь он жил здесь когда-то.

Изанаги, подними свое копьё. Видишь, капли росы выступили и на нем. Кто, какая женщина соберет их нежными устами, паутиной тонких пальцев?

Ямато... Ямато... когда-то... ты бредишь, матрос. Ты никогда не будешь адмиралом. Ночь минет, и на небо выбежит золотоликая Аматарасу.

Он всегда хотел разбить благостную улыбку фарфоровой богини. Он знал: настоящие драгоценности горят не на довольных сытых грудях, а на торчащих голодных ключицах и костях, на ребрах, на крови, и его любовь – это не любовь; вся бедная родина, весь нищий простор не заслонили первобытной силы, туземной жестокости этих огней, зверьих адамантов, наотмашь бьющих в зрачок, в предсердье. Жизнь – не благодать. Это кровь и пот. Это дым от курильниц, от кадилъниц бесноватых. Он опять перевернулся на живот, и неутешная плоть взыграла. Медленный снег падал на ночной каменистый берег, на его спутанную просоленную паклю волос, на плечи, облепленные матросскою белой рубахой. На гудящие под ветром, качающиеся маятниками сосны; они гудели, точно орган в старой северной кирхе, близ красно-кирпичного морского заведенья, где его учили на матроса; о, он помнил свою бурсу крепко – встать-сесть, сесть-встать, а ну-ка назубок фортификацию, а ну жри перловку да не надувай недовольно красную рожу!

Земля... земля... я люблю тебя... я люблю тебя...

Земля под ним раскачивалась вместе с ним.

Горячие, дымные и сладкие волны пытально, безустанно колыхали его.

Какое счастье было плыть вместе с землей. Какое счастье. Счастье.

ГОЛОСА:

Ну, с Богом!.. С бочки и якоря сниматься!.. Эх, жисть наша!.. где наша ни пропадала... Эта Зимняя Война – что волк голодный: все жрет и жрет наши кости... Назад средний!.. Что, не спится всем?.. Ночь-то вон какая лунная, Луна как мятный пряник, над землей стоит, – огромная, круглая... Живы будем, нет ли... Эх, Василий, Василий!.. Вон они, Яматские Острова, будь они прокляты... Ты моряк хороший, Василий. И я тебя люблю. Если мы пойдём в бою – вспоминай меня, твоего друга Гришку... Россия не сдаётся, подняла пары во всех котлах!.. И мы не ударим в грязь лицом... Не подведем адмиралов... Мы уйдём из мышеловки, Василий. Дойдем до Белого Волка, как пить дать, дойдем. Соединимся там с «Павлом Первым», с «Андреем Первозванным»... Васька, а что, Андрей Первозванный был апостол, впрямь?.. и на нашей Руси был вправду?.. бродил по нашим полям и лесам, Евангелие проповедовал?.. эх, крепкий был мужик, должно быть, по нашим-то ужасам пешком ходить... Слышишь, Васька, а в одном стихе, не помню у кого, сказано: всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя... А нам надо идти на Владивосток!.. Дойдем ли?!.. Ежели мы умрем, Василий, друг мой, – вот ладанка у меня на груди, ты съми, сорви, хоть в

зубах, а до земли доставь... и потом жене моей, Фотине, передай... Вот и рассвет. Бой начинается!.. Перекрещусь... с Богом...

Экий страшный бурун обрушился на крейсер!.. Глаза пеной залепило... С палубы все надстройки сорвало, тамбуры разметало к лешему... Корма бьется как в лихорадке, как в падушей!.. Смертью пахнет, Васька... смертью... Правая назад!.. Держи на буй!.. Страх – отставать!.. Кругом вода, соленая вода, помирать будем, Васька, – ох и нахлебаемся, под завязку...

Эка бревна трещат!.. Доски лопаются... как орехи!.. Железо лязгает о железо... а огонь... огонь!.. Одни огнища кругом... Вишь, рубаха на старпومه горит, как факел!.. Окстись, Васька, – ведь это же бой настоящий!.. И гляди, в волны-то с небес сыплет снег – настоящий... а я думал, он у нас только в России бывает, а он и тут, на Востоке, из туч идет, сверху вниз, как ихние письма... Бери курс на Белый Волк!.. Если дотянем – счастлив наш Бог будет... Иди, снежок, иди, твое покрывало для нас – спасенье!.. враг не увидит нас за белой пеленой... успеем уйти... Пока у нас в погребах и в трюмах есть снаряды – нас никогда не назовут побежденными!.. Ежели даже, Васька, мы эту Зимнюю треклятую Войну и проиграем почем зря...

А-а-ах!.. снаряд... Они летят, как пилено из решета!.. Васька... на ладанку... возьми... прямо сейчас... ведь я знаю, знаю, что не жить мне... и Николаю Угоднику, морскому святому, помолись, прошу, за меня...

.....и имя той страны Жи-Бэнь, Иаббон сиречь, и душатся там дамы духмяными духами, и носят дам в салазках, а полозья серебряные на плечи дюжие мужики кладут; и девки там выщипывают себе брови, и, о ужас, таково страшно воззирать на девицу, плачевно застылую пред зеркалом и по волосочку, по волосеночку выдирающую себе из пушистой собольей бровки... что за несчастье, что за жалость! И ничем-то их не уговоришь, баб тутошних, што невозможно жалостливое зрелище сие...”

Ах, ах!.. Салазки... розвальни... он помнит.....

.....он был старик, а она девушка. Когда он гляделся в зеркало, он видел свои сильно раскосые глаза. Он любил скакать со своей девушкой на тоще-задом монгольском коньке. Конька плохо кормили на бедняцкой конюшне. И он, властитель, властью своею не мог приказать, чтоб скакуна получше содержали; ему не до лошадей, не до овса, не до лодок, не до посевов риса, не до короны было – он любил девушку, а девушка любила его. О, девушка! Какая у него девушка была! Загляденье! Он заглядывался сам, то и дело. Веди коня, какое развлеченье. Поскачем в степи, к горам... к морю. Она щипала его вислую седую бороденку. Старик, до моря не доскачем. Ты умрешь по дороге – что я стану с тобой делать? Садись без лишних слов. Звон голоса твоего приятен мне, но вперед. Скорей. Подводили мосластого, грубогривого коня. Девушка садилась без седла, впереди него, лицом к нему. Он задирает ей юбку – на ней не было ни шаровар, ни рубах, ни иных покрытий тайной плоти. При виде ее гладкого, как весенняя Луна, живота из его напрягшихся, потных чресел вырастал длинный твердый стебель. Девушка трогала его рукой и смеялась. «О!» – восклицала она испуганно и восхищенно. «Какой ты молодой!» Да, он был молодой, моложе всех на свете. Он хватал ее за талию, под ребрами, обеими руками, вздувал мышцы, поднимал ее в воздух, высоко, над трясущейся спиной чахлого конька, и насаживал на каменный палец, указующий им двоим одну дорогу. Ударял коня пятками в бока. Раздавалось жалобное ржанье. Конек с места брал рысцой, потом пускался в галоп. Откуда и прыть бралась. Девушка поднималась и опускалась на неслабеющем выступе его жизни. Ее пальцы мертвенно вцеплялись ему в плечи, оставляя несмываемые синяки. «Ты мой... ты весь мой», – шептала она. «Как больно... как страшно... еще... всегда... мы будем так скакать всегда, о жизнь моя?!.. я не выдержу... я не смогу... я...» Ее крик взлетал до неба. Птицы прядали в вышине, раскидывали крылья. Ястреб ложился крыльями на горячий синий воздух, искал воздушный поток, опору, что понесет

его вдаль, ввысь, все выше и выше. «Мы будем так скакать, пока не достигнем моря», – шептал он ей в розовое маленькое ушко, едва прикрытое легкой, летящей по ветру русой прядью. Он был раскосый монгол, а она была золотая степнячка. Ее похитили по его приказанию. Она стала его сто двадцать пятой женой. «Ты моя жена. Слышишь ли, жена моя. Ты единственная». Она мотала головой. Коник нес и нес вскачь. Он, старик, пронзал ее насквозь, юную и свежую, и гордился собой. Так они скакали в бесконечность. Солнце палило. Трава засыхала и тлела. Вдали синим клинком горела острая полоска воды. Это наша смерть? Это наша жизнь, дурочка. Мы напьемся синевы. Мы умрем! Это горечь! Пить нельзя! Обними меня! Еще... еще... пронзи меня! Ты неутомим! А ты неутолима, и я никогда не утолю жажды твоей, девушка. Ибо я создан для тебя, а ты для меня; так бывает редко на земле, но все же бывает. Нет! Нет! Так не бывает никогда! Да. Ты права. Так не бывает. Природа кладет обычным людям предел. Но не единственным возлюбленным. Им предела нет. Не положено. Бог не положил. Бог не разрубит нас. Я вонжусь в тебя еще глубже. Насовсем. До конца.

Коник косил в них темным, скорбным, сливовым глазом. Когда они доскакали на воды, они, так и не расцепившись, свалились наземь с конской шершавой спины. Обнявшись, они сдвоенными ножами закатились в воду, барахтались, чуть не захлебнулись, смеялись, целовались, белые зубы их блестели в солнечных лучах. О, это было бесконечно так – с ней. Не кончалось. Древние пророчества сбывались. И жалко было предположить, что это всего лишь сон. Нет; такое сном быть не может. Только явью. О, явь. Продлись. Побудь еще немного. Постой, конек, на берегу. Погляди на нас. Как пахнет солью, йодом, морскими травами, мякотью ракушек, выковырянных палочками – дети бродили по берегу, захотели есть, убили живых моллюсков, испекли в золе костра. Девушка моя! И мы ракушки! И мы мидии! И нас когда-нибудь испечет в костре Господь!

Возьми меня еще.

Да. Да. Я с тобой.

Не отпускай меня.

Да; не отпущу тебя. Я не для того родился на свет, чтобы умереть, отпустив тебя с миром. Ты моя пленница. И в этой жизни. И в предыдущей. И во всех последующих перерождениях.

А кем ты был в предыдущей жизни, моя седая борода, мои ледащие ребрышки?!

Я плавал по морям... по волнам... не помню... я натягивал паруса... чистил корабельные котлы... подбрасывал угля в черную топку... огонь застилает глаза... не вижу... я ничего не вижу, девушка. Ты совсем свела меня с ума. А!

...ты не умеешь отрезать косы?!.. Грош тебе цена тогда!"

Сумею, если надо. Русский моряк должен уметь все. И парикмахерствовать тоже."

Руки-крюки!.. не совладаешь... Оки, повернись! Сейчас тебе этот охламон косу оттяпает..."

Голова мотается: влево, вправо. Жар во лбу. Из лба текут потоки красной обжигающей крови. Он уже умер, должно быть, и за грехи попал в Ад. Только в Аду может быть столь жарко. Но отчего его ступни и голени, локти и лопатки в песках? Пески горят. Пески шевелятся, ползут по нему. Как есть охота!

– И пить... пить... Ради всего святого... ради Христа... пить...

Слабые руки волокут его. Слабые руки поднимают ему голову. Слабые руки вливают ему в запекшиеся губы глоток, еще глоток. Он глотает терпеливо. Питье не проливается в глотку – она сохлась. Питье просачивается сквозь трещины и расщелины, пропитывает соленой кровью землю, забившую горло, легкие.

– Дзэниро... Дзэниро...

– Что ты бормочешь... я не Дзэниро... я...

Он все помнит, враки. Память у него не отшибло. Он взял в плен пехотного капитана Тейско Оки, смешного человечка с косичкой на затылке; Оки показал под ружейным дулом, трясая мелкой и незаметной дрожью – от холода, верно, не от страха же смертник трясется, – что он подчиненный подполковника Юока и находится в его распоряжении; и военную форму не брал он с собою, так как идти в ней по Китайской Земле, соблюдающей нейтралитет, не представлялось вовсе возможным. Ах, Господи Боже! Верить ли тайной раскосой усмешке! Он наставлял на него ружье, приклад холодил ему плечной бугор. «Я взял порученье, и я знал, что я иду на верную смерть, и не надеялся вернуться!» – звонким и молодым голосом сказал капитан вражеской пехоты, и он понял, что с детства врагов готовят к смерти, и что умирать – это тоже наука, и что смерть – самое прекрасное, что есть в жизни, на взгляд этих смешных раскосых людишек; и что их, гололобых щенят, на плачевной широкой родине к смерти никто никогда не готовил, не учили их, солдат и матросов, любить ее, а вот родину учили любить, да они и без учебы ее пылко любили, только не знали, что же это такое – любовь; о, они долго этого не знали, любви, а многие умерли, убиты были в первом же бою, и никогда не узнали, – а может, и узнали – в миг смерти. Ведь брешут же во всех сказках, что смерть похожа на любовь. «Я знаю, что мне грозит смерть, – высоко и пронзительно выкрикнул Тейско Оки, вздернув подбородок и нагло щурясь на ружейное дуло, плясавшее в матросских кулаках, – и когда вы меня захватили, матросы, я хотел лишиться себя жизни, да у меня не было под рукою, чем это сделать. Если я теперь вернусь на родину, я потеряю свою честь. Я не могу вернуться. Мне стыдно быть подсудимым. Прошу вас, скорее кончайте дело, которое вы начали. Я готов». Какое прекрасное светилось у него лицо в тот миг! Он кончил речь и посмотрел своими косыми глазенками, не мигая. А подполковник Юока стоял рядом и темно молчал, и узкие, как две рыбы уклеики, глаза его так же, как и у Оки, горели подземным диким светом. Они жаждали, чтоб у них в руках оказалась обоюдоострые короткие мечи. Они знали, куда их втыкать, как поворачивать, чтоб наверняка. По его, как ни заколись, все заколешься.

...задержаны русским разездом к северо-западу от станции Турчиха!.. Китайско-Восточной железной дороги... одетыми в монгольские одежды... в кои они облеклись для сокрытия своей национальности и принадлежности к вражеской армии... деяние... согласно Свода Военных Постановлений... подданные Юока и Оки подлежат... преданию Временному Военному Суду Северной Маньчжурии...» – выкрикали далекие, лающие голоса. А может, это брехали собаки – они там, на страшном Востоке, умеют по-человечьи, ибо там все колдуны. Мама... маменька... молочка бы... горяченького... с лепешкой... а то уши холодной, с погребца, и под водочку... хоть стопарик... крохотный... согреться... зачем согреться тебе?!.. ты весь пылаешь... ты пламя...

– Ты бредишь, бредишь, – говорила она ему на своем языке, и он не понимал ее. Он знал, что она говорит так.

Она тащила его волоком, за ноги, по песку. Он помнил? Тело помнило. Дымилось, искрило красным под сомкнутыми веками. Как сильно он хотел пить!

– Ты знаешь... нас взорвали... там погибли крейсера... такие люди там погибли... сгорели заживо... утонули... я один выплыл... не может быть, чтоб я один... кто-то ведь спасся еще...

– Тебе нельзя говорить. Ты сумасшедший. Я слышала взрывы. Оттуда никто не выплыл. Море поглотило всех. Богиня моря взяла всех. Она жадная. Как я.

Он открывал глаза, видел ее. Смуглые щеки во мраке. Темень, темнота. Как в курной избе. Как в бане по-черному у него в селе. В баньку бы теперь. Здесь, в земле желтоликой Амагерасу, снега нет?! Но почему ж на песок падал и падал снег, все снег и снег?! Руки его кололи и клевали снежинки. Пятки прочерчивали в песке, смешанном со снегом, полосы – будто он был санями, а пятки его были полозья, и на нем, в нем везли девку, имя ей было – Жизнь. Смерть, где твое жало?! Ад, где Твоя победа?!.. Ты еще помнишь слова из огромной

книжки в кожаном переплете, лежавшей на дубовом столе у батюшки, и заиндевелые окна церковно-приходской школы, и то, как ты прибежал однажды в школу раненько, раньше всех, ни детей, ни батюшки не виднелось и в помине, и на двери висел, тускло мерцая в жгучем от смертного мороза утреннем воздухе, черножелезный амбарный замок, и ты наклонился к замку и лизнул его – от розовой звонкости утра и снега, от избытка чувств, от любви... и язык прилип мгновенно, приварился к выстывшему на морозе железу, намертво... Господи, как отодрать?!.. помоги, Господи!.. и ты рванулся весь, вместе с языком и замком, и тебе показалось, что не язык отдирают от тебя – а грудь разодрали ручищами незримыми и сердце, сердце из тебя дерут и рвут прочь, и жилы трещат, и нутро стонет, и боль! Боль! Какая боль! И кровь, – ты глядел, изумляясь, на свою ребячью кровь, она с высунутого, будто б ты был диким волком, языка капала на яркий снег, Солнце всходило, снег играл тысячью алмазов, резал глаза, ты зажмурился, слезы твои лились у тебя по щекам и замерзали, не успевая докатиться до гусиной шейки, долететь до белой земли.

– О, больно!.. больно, женщина... я руку сломал, что ли?.. но я же плыл... я руками махал... я доплыл...

– Молчи, молчи... тебе нельзя говорить... пей...

Она подносила к его губам ободранную, облезлую жестяную кружку, когда-то крашенную зеленой краской. В кружке была вода, теплая, вонючая. С отвратным запахом неведомой травы. По губам скользило масло... жир?..

– Люй-ча... люй-ча... до дна... пей все, до дна...

Он пил покорно. Это была теплая жирная жизнь. Он следил за незнакомкой слепыми, еще солеными глазами, когда она отползала на корточках в угол. Где они приткнулись? Он не понимал. Доподлинно он знал, видел одно: это женщина, она тутошняя, она раскоса и уродлива, волосы свисают у нее на лоб. Глаз ее он не видел. Его трясло от холода. Портки бы теплые натянуть. Бурки ли...

Она шептала на своем языке:

– Милый, милый, бедный, бедный. Будешь жить. Будешь жить.

Как он понимал ее птичью речь? Его печень екала. Ему надо было поесть. Она приносила ему печенную в костре мидию на листе сухого прошлогоднего лопуха. Есть еще у Господа справедливость. Он приподнимался на локтях, ел.

– Как зовут эту землю?.. Иаббон?..

Под висящими смоляными волосьями он читал ее радостную улыбку. Она качала головой.

– Ямато. Ямато...

– Пусть Ямато. Жить...

Он хотел вымолвить: пить, – и губы перепутали. Он уже говорил на ее языке.

Она кормила его, кормила – и выкормила.

Однажды он перевернулся на живот без ее помощи, сам.

Она подкладывала под него железный холодный противень, чтобы он мог облегчиться. Только бы она ничего не пекла после на противне поганом. Откуда она брала еду на пустынном берегу? Ловила крабов; подстреливала малых птичек из рогатки. Он рассмотрел, во что она одета. Простые белые широкие штаны, черная рубаха. На груди – вышитый золотом дракон. Золотые нити пообтрепались, повыщвели. Однажды он потрогал дракона пальцем. Ему показалось, что страшный зверь тихо заворчал. А это она озорно зарычала, чтоб его напугать и повеселить. И сама рассмеялась – громко, грубо.

– Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!.. ха... ха...

Он оборвал ее смех, вцепившись ей в запястье, резко тряхнув за руку. Огонь руки обжег его. Ему показалось – он взял в руки раскаленный добела чугунный брус.

– Что?! – крикнула она страшно. Глаза ее расширились.

Он сжал ее руку до явственного хруста кости. Чуть не сломал. Из ее глаз полились слезы, пряди, висящие вдоль по коричневым щекам, мгновенно вымокли в слезах.

– Зачем ты... зачем ты!..

– Скажи мне ты, – он задохнулся. – Скажи мне, зачем ты меня спасла?! Ведь это чужая земля... чужая земля!.. И я пленник... я буду пленником тут же, как меня найдут... ты сошла с ума – спасать больное, обожженное тело! И меня все равно расстреляют... Повесят... или будут держать за решеткой, в загоне для скота... Лучше бы я умер...

– ...нет. Не лучше.

Он выпустил ее руку. Она подула на запястье. Погладила вмятины на коже.

– Ты же не воткнешь в себя кинжал.

– Ведь у тебя и кинжала нет.

– Есть. У меня все есть. Ты русский? Ты красивый. Я люблю бойцов с бритыми головами. Я дам тебе кинжал. Ты поиграешься с ним и кинешь его в угол. Вон в тот, где сплю. – Она презрительно показала во тьму закута. – Но прежде ты будешь притворяться, что убьешь себя. Себя трудно убить, моряк. Когда ты спал, я сняла с тебя твою тельняшку, выстирала и заштопала ее. Вот.

Полосатая одежонка полетела ему, лежащему, на голову.

– Какая ты добрая!.. Отчего ты такая добрая?..

– Оттого, что я одна. Ни одного живого существа вокруг, кроме мидий да крабов. За две мили отсюда живет старуха Гэта. Она уже не может передвигаться сама. Я ношу ей жареную рыбу.

– Рыбу?.. Ты умеешь ловить рыбу?..

Ее губа приподнялась в смешке.

– Ты, глупый, сам ел третьего дня – в бреду, что ли?

– Я не могу различить того, что ты приносишь мне на сухих листьях. Спасибо тебе за все. Зачем ты спишь там, в углу? Ложись рядом со мной. Я уже здоров. Я уже силен.

Он хотел пошутить, улыбнуться ей, рассмешить ее, так же, как она недавно смешила его, – и не вышло.

Она внимательно, косо поглядела из-под водорослевых, тяжелых волос, встала, маленькая, худенькая, беззащитная в широченных, как с мужского брюха, штанах, подошла, раскачивая спутанные косы во мраке каморы, к своему углу, подхватила легким, безошибочным движением рисовую циновку и коровью шкуру, вытертую до дыр в мездре, вернулась к нему и легла рядом с ним.

– Бог Ванак... бог Ванак...

Он, как во сне, осязал пальцами, ладонями, запястьями, кулаками шелк кожи. Смуглота. Он не видит во тьме, какая она смуглая. Она же вся смуглая; они, азийки, все такие, чернявенькие. А какие итальянки?.. испанки... не довелось тебе поплавать по морям, поглядеть. Так хоть гладь теперь. Что под его ладонями... грудь... она льется ему в руку, как молоко... Он больно сжал чечевицу сосца. Женщина. Матрос, это женщина, и ты жив, и она сама пришла к тебе. Что ж ты робеешь?!

– Никогда... ни с кем...

Он не дал ей добормотать. Рты их встретились, налегли друг на друга. Ладонь нашла на ладонь, и палец вдавился в палец. Влепиться в чужую, дикую жизнь. Дано ли?!

Когда они соединились, задыхаясь, дрожа, она шепотом крикнула ему в ухо:

– Погоди!.. Не шевелись. Не раскачивайся. Побудь так. Лишь пронзай меня. Ты давно не был с женщиной, и ты не храбрец, ты не петух. Ты бедный человек, и я жалею тебя. Ты очень могуч, слишком даже. Потому не качай себя на мне. Будем как две скорлупы морского ореха. Тише!.. видел панцирь краба?.. из двух половинок...

Он повиновался ей. Нестерпимое желанье переполняло его. Он чувствовал себя чашей, вино могло в любой миг вылиться через край, во славу чужеземным богам.

– Я познакомлю тебя со своей теткой, – жарко задышала она в его ухо, кусая его, извиваясь под ним, испуская длинные стоны. – Она живет в Иокогаме. Большой город, тоже на море. Много сосен. Тетка держит в доме девушек, они служат морякам. Девчонки так хороши!.. уж лучше меня... – О чудо, чудо, он все понимал, что она бормотала; уже ни одного словечка не пролетало мимо его ушей, мимо ноздрей, мимо жадно целующего, пьющего ее рот рта. – ... я – что... высохший морской еж... домик улитки... я водоросль сухая, удивительная кэй-но, выброшенная на берег волной... Ты увидишь, что такое настоящая, хорошая жизнь... много денег, танцев, песен... курят табак, опий... всю ночь напролет гуляют, едят... рис с абрикосами, трепангов... пьют ром, сакэ... и женщины, женщины... столько женщин, на выбор... отовсюду... из всех провинций... одни сами бегут на море, в портовый город, других – продают... девочек привозят с гор, с самой Ямы, за деньги вешают моей тетке на шею... как ожерелья... и она деньги берет, потому какой же человек не любит деньги... Тетка красит волосы хной, а рот – коралловой помадой... ты делаешь мне больно... и прекрасно!.. Я никогда... я...

Она задохнулась под его губами и натиском его больно охвативших, сцепивших ее ног. Он нарушил ее запрет. Неистово, быстро, грубо поднимаясь и опускаясь над ней, он раз от разу все сильней и нестерпимей вонзался в нее – еще и еще, еще и еще, до тех пор, пока соленая волна крика не смыла их обоих в черноту беспомысленности.

И он даже, о дурак, не узнал ее имя.

Или – узнавал? Спрашивал? Но забыл? Ведь он болен был долго. Лежал на тонких циновках на полу. Бредил. Кому внятен бред больного?

Что они спали вместе каждую ночь – это он помнил.

Он накрепко запомнил и ее тело, никогда не виденное им при свете дня, лишь прижимающееся к нему ночью, безумное, горячее, умалишенное. Так горячо, дымясь, течет лава из жерла вулкана. Нельзя опустить туда руки по локоть – сварятся заживо. Не дай Бог упасть. Никто не выловит.

Да и он не безмозглая рыба, чтоб ловить его.

ГОЛОСА:

Я варила ему рис. Он полюбил нашу еду, наш вареный рис. Я варю рис хорошо, все рисинки отскакивают друг от друга. Он брал рис пальцами прямо из блюда, хотя я и учила его пользоваться марибаши. Марибаши вываливались у него из пальцев, он никак не мог удержать их. Каждый вечер я ходила на взморье собирать в корзину выброшенных приливом крабов, креветок, мидий, рачков, лангуст. Он был молчаливый. Он был моряк и русский. Он долго был без сознания. Я молилась Будде и Амаатерасу. Я выкормила его. Он выжил. Я совсем не просила Богов, чтобы он остался здесь, со мной – какой мужчина останется здесь, с одинокой женщиной, на пустынном морском берегу? Я понимаю – мужчина устроен так, что он должен скитаться. Он должен бродить, оступаться, зарабатывать ожоги, падать со скалы в пропасть, напарываться на кинжал и сам вонзать кинжал в живую спину и грудь. Должен биться на Зимней Войне... она идет неостановимо, все никак не кончится. Сколько наших мужчин полегло уже на ней. И в морях, и на горах. Зимняя Война – это жерло вулкана, что пожирает все живое kloкочущим огнем. Я стояла над кипящим вулканом, я видела землю и камни, кипящие золотым, красным огнем. Я знаю – мужчине нужно видеть все время такой огонь. Плавать в огненной реке. Ловить огненную рыбу за хвост.

А я? Кто я? Так, случайная щепка, выброшенная морем на одинокий берег. Когда он спал, я прочитала у него на лице линии первых морщин, тайные знаки судьбы. Взяла его бессильную во сне руку, поглядела на ладонь. Я знаю тайнопись, как многие яматки. Мне моя бабка рас-

сказывала. Я прочитала на его ладони, что он умрет не своей смертью. Ну что ж. Не мне его спасти. Каждый человек живет так, что или он спасает, или его спасают. Что лучше – быть спасенным или спасать самому? Я не знаю. Я могу только утирать слезы собственными черными косами. Они все льются и льются по щекам. Капают на его спящее лицо. Он не просыпается – спит крепко. Я для него только лекарство. Был ожог, и меня Боги привязали к нему целебной повязкой, чтобы рана скорей затянулась новой, хорошей кожей.

Быть лекарством, о Будда, так почетно. Но я не знаю, отчего слезы. Ведь кому суждено быть одиноким, тот так одиноким и останется. Я останусь, женщина на песчаном берегу моря, с корзиной вечных мидий, с засохшей солью вдоль загорелых скул. Я буду собирать мертвых креветок и молиться о нем. А он меня забудет для другой. Не вспомнит никогда.

Он жил у нее ровно столько, сколько нужно было для того, чтобы вернуться в жизнь: пуститься в путь. Его страшил сухопутный тракт. Он привык к колышашейся, качающейся, беспредельной, то серой, то яркой воде. Он уже забыл ощущение земли – каково это, когда под ногами не палуба, а твердь. И по Тверди Небесной Бог ходит. Ромашки звезд срывает.

– Когда в Иокогаму побредем, замарашка?!..

– А когда велишь, господин!..

Смех пытался прозвенеть колокольцем, а выходил жалкий вороний клекот. Узкие глаза превращались в две узких черных слезы – они стояли на щеках лодками, не скатывались. Вот он уже и господин, будто тигр или богдыхан какой-то; и вот уже она привыкла к нему. Того и гляди, рванется к нему: о, не расстанемся! Он боялся такого бабьего порыва, не хотел.

– Пойду вытягивать сети!

– Давай помогу.

– Лучше наточи мне серп. Нарезу водорослей, сварю терпкий суп... Рыбку в кипяток кину, посолю... соль нынче выпарила... Пальчики оближешь...

Он сделал так, как она велела. Ночью он, крепко и безжалостно прижимая ее к себе, сам перецеловал и облизал ей все ее пальчики – маленькие, смешные, как рыбки мальки, как игрушки, подвешенные к бумажному потолку на ниточках, натруженные, просоленные морем.

Наутро она сама собрала ему и себе дорожный мешок. И он впервые увидел ее обитающее, где он жил и возвращался к жизни – приземистый, сбитый из изъеденных солеными ветрами старых сосновых досок домик, напоминающий гроб – чуть бы поменьше гляделся, и тебе домовина. А она тут живет. И жить будет. И он ожил.

Он по-русски, в пояс, поклонился дому.

– Благодарствую тебе. Никогда не увижу больше.

Он сказал это очень тихо, а она услышала.

Ночная бабочка

Это сон. Господи, это сон.

Я давно в сем Доме. В табачном дыму. Когда курят опий, я пристально смотрю на чубуки. Длинные трубки неподвижны: они замерзли. Кто я? Откуда здесь? Я не помню своего родного имени. Ольга... Олесья... забыла. У всех людей была мать. У меня тоже была. Матери привозят сюда дочерей – продавать. И Кудами-сан покупает, а мамашки, толкая визжащих девчонок в осьминожки шупальца, горланят и задираются, чтоб не продешевить. Кто-то и плачет. Слезы! Зачем у человека по лицу текут слезы! Это бесполезная жидкость. Бог зря ее выдумал. С нее ни опьянеешь, ни заснешь. Я хочу опьянеть и заснуть.

Когда я засыпаю, пьяная, я пою: У любви, как у пташки, крылья... ее нельзя ни-как поймать...” – и из моего рта пахнет водкой, настоянной на змеином яде. Змеиная водка. Женщина-змея. Кудами-сан заставляет особо красивых девочек вползать в узкое кожаное кимоно, расшитое сплошь золотыми чешуйками и бисеринками, а мужики вопят: Распорем змеиную шкуру!.. Разрежем!..” И вынимают ножи. Я часто видела у своего лица нож. Однажды подставила щеку ближе к лезвию: Ну, что ты тянешь, тюлень. Порежь. Обезобразь. Да я и так страшна; сделай меня еще страшней. Дай мне уползти отсюда вон, истекая кровью. Лучше умереть под забором, чем ложиться под нового зверя. Коли!” Мужик испугался, отдернул руку. Нож выблеснул надо мной платиной ущербногo лунного серпа. Чумная... бешеная!.. Я не заплачу Кудами грошей за тебя... ты... и укусить можешь!..” Он ощерился, спрятал нож. Поглядел на меня пристально. Врешь, – слово капнуло тяжело и светло – капля цветочного северного меда с черпака. – Врешь, баба. Ты красивая. Ты не знаешь. Ты... в зеркало гляделась когда-нибудь?..” Я помотала головой: Деньги лучше дай, а то Кудами меня побьет”.

Он дал мне денег. И я снова легла под него.

Это сон, сон. Я сплю. Я напилась пьяная и сплю. Надо бы перевернуться на другой бок: сердце болит. Во сне может прихватить сердце, боль сожмет его лапой, ты задохнешься и умрешь. Я всегда хочу умереть, и я всегда жажду жить, потому что боюсь смерти.

А все ли боятся смерти? Есть те, кто ее не боится?

Меня насильовали воины-смертники. Трое подряд. Они, возлегая на меня, даже не снимали доспехов. Ножны одного из них, с тремя тощими косками на затылке и щелками вместо глаз, вонзались мне в бок, когда его острый живой меч вонзался мне в чрево. Этот, волосатый, все не слезал с меня. Тогда другой пхнул его в грудь; он слетел на пол, свалился неудачно, подвернул ногу, завопил от ярости. А другой взял меня обеими руками, встряхнул, как подушку с гагачьим пером, выпростал из-под блеска снаряженья свой мужской ужас и наколол меня на себя, как птицу на вертел. Как польхал костер! Как поджаривалась, пузырилась, капала маслом, потом, кровью и слезами моя кожа, мои вкусные потроха!

А третий, еще мальчик, но уже обреченный, стоял, глядел. Ему не надо было брать меня. Среди доспехов, заклепок, ножей и оружия, висящего на нем, дрожал живой дротик. Он держал его еще живой рукою, дышал тяжело. Когда другой излился в меня с диким рыком, мальчик изморщил лицо, выпустил дрожащее живое оружие и заплакал. Он понимал: лучше умереть в бою, чем жить, имея оружие и не убивая им.

И, когда они ушли, насытившись, я отползла от циновки, перекатилась, как катушка с шелковыми нитками, под соломенное кресло-качалку, чтоб никто не увидел меня, чтоб старуха Фэй не потащила меня к новому жадному зверю, и стала считать монеты, зажатые в кулаке. Чешуя, шелуха. Человек лузгает золотые, серебряные, медные семечки. Все заплевано, загажено. Человек заплевал шелухою все: улицу, площадь, сердце друга, свое лицо. Я бы плюнула в лицо Кудами-сан, да не могу. Пусть лучше она плюнет в мое. Ведь и Христос так велел. Вот веру мою у меня еще не отняли. Крестик вот у меня между ключиц. Медный, бедный. Кре-

стильный. Должно быть, еще грудничком меня крестили, я же не помню ничего. Бечевка старая, скоро перетрется. Один мужик, что недавно со мною тешился, взял его в рот, стал зубами кусать, играть с ним, как кот. Я выдернула крест у него изо рта. Да и шлепнула его по щеке. А ладонь моя была мокрая, вспотевшая в труде постельном, ему больно стало. Глаза наши столкнулись. Молчанье прозвенело вокруг наших лиц тихо, тихо. Прости”, – выдавил он угрюмо.

И я тогда поугрюмела тоже; и больше не продолжали мы тогда священных игр Нефритового Пестика и Махрового Пиона.

Я пьяная, и я засыпаю. Не мешайте мне никто, и вы, девушки, отвалите: Чань-Ду, Екко, Миранда, Цин-Ци, маленькая Жамсаран. Жамсаран, тебя так называли оттого, что у тебя все зубы вперед, как у волка?!.. – грозный, страшный был твой бог, зачем же тебе носить мужское имя?.. ты ведь маленькая девочка, и тебя продал сюда твой отец, насладившийся тобой под веселую, пьяную руку... ты нищая, и останешься нищей... чешуя, шелуха тебя не спасет... развей ее по ветру... по ветру...

Это сон. Я сплю. Мне снится сон; молю, до срока ты его не прерывай.

Я хочу досмотреть его до конца.

Все мы видим сны о своей жизни. А жить не хотим. Жизнь слишком страшна, чтобы ее жить; чтобы жить ею. А сон – чудо. Единственное чудо, любимый Бог мой, какое у нас еще осталось. Да черпак рисовой рассыпчатой каши: повар Вэй Чжи пускай положит сверху на горку сухого риса две виноградины – дамские пальчики”. О, я любила их в детстве... мама покупала у уличных торговцев, платила большие деньги, чтоб меня порадовать... Розовые, прозрачные, сладкие дамские пальчики. Их кусают, ломают, выворачивают, едят, грызут. Они потом, после всех наслаждений, гниют в гробу, и их опять едят черви. Женщина – это еда, как ни крути. То ребенок сосет, ест ее грудь; то мужик выедает ее целиком, дотла. А если ее бросают на растерзанье многим зверям – стаду, табуну, стае, – она кричит долгим криком, и крик ее теряется в ночи, никому не нужный, ледяной, и все жирно и непотребно смеются над ним.

ГОЛОСА:

Ну до чего ушлая девка, эта русская барышня, а?!.. И зачем только ее нам вернул старик рикша, привез на телеге, губы искусаны, бредит, вся грудь набухла и отвердела, молоко прогоркло, жар сумасшедший, до тела, до лба дотронуться нельзя, я уж думала, она и не выживет!.. И для чего только мои девчонки ее на набережной подобрали тогда!.. Хлопот с ней... как с Императорской розой... Хотя... лишь ее одну мужики отчего-то и заказывают. Маюми!.. налей мне в бокал испанского вина, вчера на кораблях привезли, отличное!.. М-м-м-м!.. Да, выдержанное вино. Попомни мое слово, Маюми, я еще на этой русской черной овечке состояние сколочу. Я же ставлю на нее, как на лошадку. Я прошу за ночь с ней самую дорогую цену!.. Больше всех вас, вместе взятых, курицы, она одна стоит!.. Что вылупилась так?!.. Первый раз услышала новость, что ли?!.. Я Кудами, я хозяйка!.. Что хочу, то и ворочу!.. Кого хочу, того на нее и положу, и за сколько хочу. А вы все прижмите уши, нишкните. Мое слово здесь закон! Мне ни самураи, ни судьи, ни сам Император не указ. А, Будда?!.. Что Будда!.. Будда сам любил хорошеньких женщин. И спал с ними: под разными деревьями – то под сливой, то под сакурой, то под сосною, то под бамбуком. Ого!.. разве ты не знаешь, дура, что у Будды было сто детей от ста разных женщин?!.. Он был богатырь, на то он и Бог. А у русского Христа?!.. я ничего не знаю про ихнего Христа, не лезь ко мне с глупыми расспросами, лучше еще винца в бокал плесни – отменное, язык проглотишь... Не пора ли тебе, душечка, в гладильную, кружевца к вечерку подглядеть?!.. а?!.. что-то ты на винишко сильно заглядываешься... оно не для тебя!.. хозяйка угостила – и довольно, и не раскатывай губу...

Я сплю или нет уже?!

Я открываю глаза.

Ночь и снег за окном; снег лепит густо и пьяно в раскрытой настежь двери. Наш Веселый Дом веселится. Гудит и поет. Акоя разносит меж столов на подносах сливовое вино, крабовое мясо и фугу. Девушки сидят на коленях у мужиков. Лежат, раздвинув ноги, на полу, на татами. У гололобого, обритого монаха в оранжевом одеянии, светящего, наподобье лампы, медной лысиной, трубка в зубах. Остро пахнет травкой, кою здесь ласково называют верблюжий хвост”. Акоя заваривает верблюжий хвост” девушкам в фарфоровом чайничке, чтоб взбодрить лентяек на всю ночь. Выпьешь настоя хвоста” – хоть глаз выколи. Только знай дрожись животом, селезенкой. И вытворяешь чудеса. Ужимки и прыжки. Снаружи доносится собачий лай. Это прибежали наши голодные собачки – Иэту и Хитати. Злые, большие, черные собачки. Мяса хотят. Их далеко видно на белом снегу – что днем, что ночью. А ночью-то снег белее белого, светится! И в него впечатаны длинные, страшные, черные следы Дьявола. В один след три человеческих ноги уместятся с лихвою. Мне рассказывали здесь, в Ямато, что Дьявол существует; я кивала головой – на моей родине про него я знала гораздо больше, да вот забыла. Собаки, нюхнув след Дьявола, воют громко и ужасно, непрерывно. Маюми, толстуха с Кюсю, пробовала бросать в собак камни и лепешки. Я схватила ее за руку: бульжником в голову собачине попадешь – грех на душу возьмешь! И то, – закивала дура Маюми, – ведь и я могу стать после состоянья бардо собакой! И ты! Ох ну я и дура!” Я спросила, что такое состоянье бардо. Маюми села на скрещенные, как это делает кузнечик, ноги, с трудом подвернув их под толстый зад, и все мне про бардо рассказала. Я узнала, как тут умирают. Я не узнала, как тут живут. Как живут тут обычные, простые люди: едят, пьют, трудятся, рожают, смеются, дерутся, пьют, молятся. Веселый Дом – это не жизнь. Это жизнь в кулаке смерти. Смерть то разожмет кулак, то сожмет. Чадно, дымно в кулаке. А когда сожмет – очень больно.

И от боли нет спасенья. Не убежишь. Кудами выпустит за тобою, сбежавшей, собак. Однажды я была с десятью мужчинами подряд. Я не выдержала. Я вскарабкалась на ворота, кувыркнулась, упала в снег. Дело тоже зимою было. Зима в Ямато мягкая; снег пушистый. С веток свисали снеговые кудри, и деревья были похожи на цветущие сливы. Я вспомнила, как цветут по маю наши яблоньки, и заплакала. Реву, бегу к морю. Нутро болит, натруженное. Я и не знала, что любовь между людьми можно превратить в грязную муку. Синь! Синие, зеленые волны резанули мне глаза. А тут и Солнце выскочило из-за туч, ударило копьём в воду, по снегу, по веткам в инее. Сосны всполохнулись! Я видала: в бухте стоит красивый, как белый лебедь, корабль, на его борту начириканы иероглифы, – и я бежала к нему, скорей, а то опоздаю, поднимут трапы и отдадут швартовы. Эй! – вопила я. – Спасите! Возьмите меня!” А за мной уже неслись во всю прыть собаки. Хитати набросилась на меня сзади, толкнула лапами в спину, схватила зубами за загривок, прокусила мне шею. До сих пор болят шрамы – я, когда мою щелоком голову, все щупаю их кончиками пальцев. А Иэту до крови покусала мне ноги. Я потеряла сознание. Собаки приволокли меня обратно в Веселый Дом, вцепившись зубами мне в юбку – такая я была легкая, исхудалая.

Ночь и снег. Собачий лай. Да брось ты им кус мяса, Акоя! Дамы расселись кругом. Обмахиваются веерами. Все бы перья переломала. По фарфоровым щечкам – пощечин надавала. Что это я? Ах, да, опия накурилась. Из рта моего пахнет опийным перегаром, я сама это чую.

– Лесико-сан, подай мне бутыль!.. И пиалу!..

– Лови!

Какие они дамы. Они девки. Они отребье. А есть красотки. А есть и те, кому тут жить по нраву. Есть и жадюги. Им мужиков только подавай.

Мое имя «Лесико» они здесь произносят, смешно сюсюкая: «Рисико». Будто бы рисинка.

Я рисинка, чечевица... я малое зернышко, но я уже не прорасту в земле чужой, постылой...

Я сама себя назвала здесь – Лесико. Мне казалось: шепчу это имя – и надо мной шумят красные корабельные сосны... наш черничный, весь просвеченный солнцем лес. Лес... Лесико... Леса, луга, поля... Моя земля...

Где ты, где ты, где ты, земля моя светлая?!

Как пронзительно плачет сямисен! Я знаю, кто это играет, без пощады щипля струны. Это маленькая девочка, ей восемь лет, и звать ее Титоси. Титоси привезли на лодке позавчера. Кудами-сан шупала ее везде, заглядывала ей даже в зубы – целы ли; я чуть не крикнула, что у девчонки еще половина молочных, еще повыпадут! – и вдруг увидела, как подобострастно, жалко рабынька улыбается хозяйке. Не бей меня. Жалей меня. Пожалуйста, пощади меня. Я умею играть на сямисене! Ах, так. На сямисене. Тогда ты будешь играть на нем ночью. Вся голая. Перед гостями. Ничего, не замерзнешь.

Я обернула голову. Позвонки захрустели. Титоси сидела голяком на шершавом сосновом столе, уставленном мисками с рисом и засахаренными абрикосами, бутылками с дешевым сливовым вином, плошками с неряшливо разорванным мясом краба. В крохотных чашечках с рыбьим жиром горели фитили, вроде наших церковных лампад. Титоси склонила черноволосую, с отливом воронова крыла, головку к корпусу изящного сямисена; ее жалкие пальчики метались по струнам, она попала мизинчиком в трещину в деке, тихо простонала, и стон заглушила музыка. На пальцах ее скрещенных ножек горели круглые и холодные глаза перстней. Она вся была окольцована огнями – горели чашки с жиром, розовые и черные жемчужины на шеях девок, люстра под потолком таяла и гасла в кудрявом, как стариковская борода, дыму. Титоси сидела и играла так – сколько времени? Всю ночь? Весь день? И снова всю ночь? Кудами-сан изредка кормила ее и отпускала спать. Титоси, рожальщица музыки в Веселом Доме. Когда ты подрастешь, будешь рожать деньги для Кудами. Недолго тебе ждать: года два, три. А то и ждать хозяйка не будет. Особо охочи до цветочков старички.

– Громче, Титоси, громче вдарь!.. А-ха, ребята, я накурилась травки... Морячок, иди ко мне!.. не пожалеешь... у меня в номере есть кресло-качалка...

– Акоя, эй!.. Рисовой водки нам!.. Горлышки пересохли, промочить надо!..

Титоси играла все громче. Ей ладони жег сямисен. Трепыхался в ручонках. Я глядела на мужика, который глядел, не мигая, прямо меж скрещенных ног ребенка. Раковина, вскрытая, нежно и бесстыдно распахнувшись, выворачивала наружу розовый, черный жемчуг. Живот девочки походил на корытце. В нем можно было застирать грязные, кровавые тряпки; а можно было и выкупать родную куклу. Решено. Я подарю Титоси куклу. Утаю от Кудами горстку медной грешной чешуи, куплю в лавке и подарю. Ты мое дитя, мой нерожденный ребенок. Играй! У меня никогда не было детей. Или... что?!.. голова разрывается от боли, туманится... впрямь накурилась... и водки больше не выпью ни капли...

Титоси вскинула от сямисена голову, поймав мой тяжелый взгляд. Темные, кроткие глазки, стрекозиные брюшки, прозрачные крылышки. Черная бархотка на шее – вся одежонка.

Она вздрогнула. Губки разлепились. Зубки влажно, бедно сверкнули. Любимый, милый ребенок. Дитя мое. Дитя мое.

– Играй! Что заткнулась, как сломанный фонтан! По шее получишь!

Владычица, процокав копытами гэта между столов, вклепила девочке тяжелую подзатрещину. Девочка вновь согнулась над сямисеном. Безумная музыка наполнила дымный зал. Полумрак, дрожанье огней. От курильниц к потолку взбирался дым, виясь усами лимонника. Как накурено-то. И снежный ветер из настезь распахнутой двери – не спасает. Нечем дышать.

Я рванула на груди ворот кимоно. Белокурая Нора, девушка с Испанской Реки, подмигнула мне.

Худо тебе, душка Лесико? Выпей! На, глотни скорей! Эй! Слышишь! Да куда ты глядишь! Эй!

Испанка тут одна правильно произносила мое имя.

Я не приняла стакан, трясшийся в протянутой ко мне Нориной руке.

В проеме раскрытой в ночь двери стоял человек с котомкой за плечами.

Я обшарила его глазами и наткнулась на его глаза. Все завертелось передо мной в бешеном танце.

– Э-о-эй, Титоси, а ну-ка нам танец жарь! Сейчас пригласим из номера, от Микимото, искусницу Чжэнь, пусть подыграет тебе на ситаре!

– Танец! Танец! Танец! Танец!

Все завопили, как сбесились. Все хотели танец. Всем приспичило попрыгать. Ну и я туда же. Я станцую. С незнакомцем. Вот он пристально глядит на меня. Вот скидывает со спины дорожный мешок, медленно кладет на пол. У него бритая голова, да не долыса, как у ламы в оранжевом плаще. У него жесткие черные глаза. У него широкие скулы – может, он челюстями орехи со скорлупой мелет. Он худой и поджарый, как рыба, что выловили и поджарили на раскаленном железе тут же, на берегу. У него под рубахой, под штопаной курткой матроса ходят, играют, как рыбы, жадные, жестокие мышцы. Я глядела на его босые ноги.

Они стали мне вдруг такими родными, эти ноги. Мне захотелось налить в таз горячей воды, встать на колени, взять кусок синего мыла и вымыть, вымыть дочиста ему эти ноги. Каждую складку кожи, каждый палец, косточку, сухожилие – растереть пальцами, размять, гладить, гладить, благословлять, тихо выть. И целовать. Целовать. Эти ноги. Вот эти, эти ноги.

Вот он идет от двери ко мне, ко мне. Да ведь ко мне же он идет!

– Титоси! Яростней! Ты что, рису мало жрешь! Не в коня корм! Дери струны! Дери! Бей по ним кулаком! Бей! Жми! Порви их к черту! Танец! Танец!

Все повскакали со стульев, с ковров. Ребенок терзал сямисен, бил по нему. По лицу Титоси текли слезы. Господи, вот она, музыка. Мучают ребенка ни за что ни про что, и это называется здесь, у них, весельем. Я никогда не привыкну тут жить. Никогда. Никогда.

Почему он идет прямо ко мне! Зачем!

Вокруг меня бились в танце люди. Бешенствовали. Я поняла, что уже все пьяные. Уже все напились. Разнуздались. Кони. Лошади. У, храпящие рыла, косящие глаза. Вытарашенные белки. Восток. Я на Востоке. Я никогда больше не увижу полей, стогов сена, синей, до боли широкой реки, искрящейся на Солнце всеми сокровищами здешней проклятой, леший ее задери, Голконды. К черту Голконду. К черту Июкогаму. К черту этот притон. Вот идет ко мне гость, и я должна буду тешить его за пять, семь медных чешуй. А если он мне – родной?! А в родной реке я рыбу сетью с отцом ловила; и рыба вся сверкала золотой чешуей; в родной реке я плыла, смеясь, ложилась на воду на спину, раскидывала руки и глядела на Солнце. Там, в родной реке, я могла глядеть на Солнце. А здесь – не могу. Здесь Солнце лазаретным нашатырем пахнет. Рвотной рисовой водкой. Уж лучше сожрать с костями ядовитую фугу и сдохнуть. Чтоб забыли тебя. Чтоб никто не вспомнил никогда.

Он подошел ко мне, поднял руки.....

.....ты подошел ко мне, поднял руки и положил мне на плечи. Я озиралась вокруг смущенно. Я боялась заглянуть тебе в глаза. Я впервые видела, как у нас, в Веселом Доме, грязно и смрадно. А ведь Кудами велит мыть всю обстановку и полы по сто раз на дню.

– Почему ты не глядишь на меня.

Шорох. Шепот. Голоса не было. Был шелест листьев, осенних, мертвых, летящих по снегу, над зимней землей.

– Потому что мне страшно поглядеть еще раз на тебя. Потому что если я погляжу на тебя, я умру.

– Отчего ты умрешь. Ты не умрешь. Ты не умрешь никогда. Ты красива. Красивые не умирают.

– Что ты врешь. Где ты научился так складно врать. Так красиво. На корабле. Ты моряк. Ведь верно, ты моряк.

– Откуда ты знаешь. Ты все чувствуешь. Да, я моряк. Я матрос. Мой корабль взорвали. Я русский.

– Я тоже русская. Вот чудо.

– А почему у тебя раскосые глаза? Ты тоже складно врешь. Ведь мы с тобой говорим сейчас по-яматски.

Вместо слов сыпались листья. Валил изо ртов снег. Летели зерна, потоки снега. Они обдавали нас холодом, мятым и жестоким морозом. Мы, двое русских, в грязном притоне говорили по-яматски о самом важном, не произнося о важном ни слова. Голоса летели навстречу друг другу мертво и безразлично. Сшибались. Разлетались опять. Сходили на нет. Нет. Нет. Ничего этого еще нет. Не было. И не будет никогда. Господи, сделай так, чтобы всей моей будущей жизни не было. Я хочу умереть так: в его руках – здесь и сейчас. И, о Господи, я же еще не гляжу на него.

– Погляди на меня. Прошу тебя.

– Нет!

Мой крик отдался в грязных, до потолка протянутых, как руки, зеркалах. Он схватил меня за плечи. Мои глаза взбросились вверх, два листа, взметенные диким ночным ветром. Лимонником, усиками женьшеня виляя, восходил ввысь от курильниц душистый, нежный дым.

Глаза людей – зачем они им?

Зачем им руки, ноги, члены все? Чтобы страдать? Чтобы жить?

Чтобы умереть однажды и знать, что такое смерть, когда все натруженные члены челове- чьи дико цепляются за жизнь, единственную, безотрадную?!

Его глаза вошли в мои, так два копыя входят в открытые раны, в стигматы.

Его лицо надвигалось на мое, и не было спасенья. «Я гибну!» – хотела крикнуть моя глотка – и не могла выдать ни хрипа.

– Потанцуем?..

.....зимняя улица, подворотня. Ворота скрипят на ветру, ходят ходуном. Мы стоим, обнявшись. На нас дерюги, рвань. Мы так крепко прижимаемся друг к другу, что зазора нет; нет ни движенья, ни умиранья. Мы, задохнувшись от невозможности ни жить, ни умереть друг без друга, валимся в наметенный за полночи снег. До чего горячи губы твои. Это моя печь. Это мой дом. Твои губы – мой дом. Как долго я была бездомной. Бродяжкой, странницей. Девка и должна быть скиталицей; девка явилась в этот мир, чтоб накормить собою голодную рвань. Кто целуется, лежа на снегу?! Двое нищих. Мы сумасшедшие. Мы нищие. Овчарка бежит на нас, рык ее – рык львиный. Свисток стража порядка. Сгинь, зимний городской. Пропади, Сатана. У нас просто нет другого дома, как вот эта снежная подворотня. А колокольный звон! А звон! Ко Всенощной звонят. О, праздник. Покров Зимний. Поцелуй меня еще сильнее. Еще нестерпимей, нищий мой. Будь моим Покровом. Моей Плащаницей. Моей... погребальной пеленой.....

.....а ты, звонарь Вавилонский, звони! Все звони и звони! Вызвони нам всю нашу жизнь! Усмири звоном своим всех бесов, пляшущих и лающих вокруг нашего любовного ночлега! Мир обнял нас! Мир приютил! А ты, звонарь, прозвони нам все, что ты можешь прозвонить, чтоб мы крепче, слаще уснули в снегу!.

.....

.....дура. Дура. Это ж путь. Вот он: ножки топ-топ по нему. И не свернешь. Какая чистота от снега. Какая тишина. Сколько годов ты пройдешь?! Как стопы изра- нишь?!.....

..... женщина!.. Женщина!.. В очередь!.. А ну в очередь!.. И не бесплатно!.. Этот хлеб на пароходах везли!.. Ледоколы лед кололи!.. Что вопите: дорого?!.. А ну отвали! Кому дорого, а кому мило! Время до костей прогнило!.. Нет монет?!.. плати натурой! Плата натурой – надежно!.. Ха, ха... Кто из нас... из вас!..... без греха...

.....ты нашел меня в притоне. Так глотай со мною вместе эту грязь. Я ее ногтями скребу. Языком вылизываю. Волосами мету. Потанцуем, говоришь?! Потанцуем. Согласна.

Сямисен орал и взвизгивал. Бедная Титоси, крошка. Сегодня повар Вэй Чжи принесет тебе в постель рису, обильно политого чесночным соусом. Кудами полагает, что чеснок и чай излечивают от всего, и даже от самого страшного. А что – страшное?! Вот оно, страшное. Это ты. Это твои руки. Это твои глаза, насквозь летящие в меня. Я рыба, и я насажена на кукан твоих глаз. И влажный, соленый морской хвост мой метет бордельную грязь.

Ты подхватил меня, будто бы действительно умел танцевать. Ни черта ты не умел. Ты наступил мне на ногу. Ты взбросил руки и разорвал на груди моей рубаху. Сосцы вывалились наружу, ткнулись в твою грудь мордами зверят. Зимний путь твоей груди. Почему она так холодна, столь огненная. Ожог от огня и льда неразличим. Холод. Тьма. Притон горит и кипит криками, пылью, высверками огней, захлебом хохота. Здесь роскошно, не правда ли?! О да. Я заплачу, не думай, у меня есть монеты. Нужны мне твои монеты. Ты же не из-за монет плящешь со мной. Ты догадливая.

Он мгновенно, резко наклонился и ухватил зубами черничину моего соска. И отпрянул сразу – молнией.

– А!

Крик опоздал. Он уже улыбался мне.

Зачем ты это сделал. Затем. В прорези рубахи, меж мотающихся лохмотьев – твой живот. Станцуй мне, русская девка, в иокогамском борделе арабский, пустынный танец живота. Гляди. Вот пламя. Мой живот страшней лица. Мой живот лица угрюмее. По нему катятся слезы пота и соли. Стекают по гладкой коже, по волосьям в мрачную щель, во впадину, во тьму. Положи туда руку. Ты никогда не вплетала жемчуг в пряди тайных волос? Вплетала. И мужикам это нравилось?! Еще бы. Слюною исходили. Веди меня в танце! Не выпускай! Гляди, как я умею. Да умеешь и ты. Эк чем удивил. Я здесь такого навидалась. Ах, жемчуг. Благовоньями залить бы срам – до нутра. До кости, до крови. Чтобы ожглось изнутри. Чтобы наружу вырвалось пламя.

Ты положил мне руки на лопатки. Так кладут двух безумных щук в навечную сеть. Им не вырваться. Их через миг убьют – баграми по голове.

Рыбы без оглядки ныряют в океан. В дым и дрожь очумелой воды. В бездонье.

– Титоси! Титоси! Что смолкла, стерва!

Вздых. Стон. Визг сямисена.

Наш танец. Наш танец.

Ты искал меня в трущобах. Ты искал меня всю жизнь. Там, где я мела грязные полы. Где лопатила сугробы в ошейниках поземок. Где ложилась, хмельная, под дверь кабака, и луженая глотка ржала надо мною, и хромяя нога давала мне пинка. Хочешь, я вылижу измозоленным языком всю твою плоть?! Ты страдал. Я же вижу. Ты выпачкался в грязи. Грязь облепляет нас. Нам не отмыться. Нам только осталось вылизать друг друга, как кутятам.

Вот я! Жмись ко мне ближе. Танцуй мне свою ярость. Несбывшееся. Вытанцуй до дна мне свое горе. Я вберу его в свой танец, так, как вбираю всего тебя – руки, глаза, губы, живот. Я царица терпимости. Я одна великая терпеливица. Я танцовщица первой воли. Танцорка твоих костров.

– А ты тут весело жила?.. – Твои шепот ожег мне шею. – Весело тебе... было тут?.. Давно ты тут?.. веселишься...

Я обхватываю тебя крепче. Руки мои закидываются тебе за голову, за шею. Нагая грудь моя трясется перед тобой. Смешно мы танцуем, однако. Страшно. Над нами все хохочут, а взоры напуганные. Будто мы вот-вот умрем.

– До тебя... до тебя... я тут...

Голоса внезапно не стало. Колесом предо мною прошла, заголяя ноги и срам, вся моя нищая, маленькая, как Титоси, жизнь.

До тебя – я в стольких выла глухим раструбом глотки. Они ведь не только потешались со мной... надо мной. Они мне были и надеждой. Я хотела любить, слышишь ли! Я хотела любить. Как можно любить в ошметках грязи?! В шлепках болотной жижи?! Именно там и можно. И я отмывала их от грязи. Понимаешь?! – я мыла их. Стольких мыла – черным и слепым стиральным мылом; то синим, то желтым, дешевым, то жутким дустовым, от клопов и вшей. А шла Война, и у ее солдат водилось много вшей, и от них заболели солдаты и умирали, и на моих руках умер один, он болел тифом, он оглох, он бормотал в жару: Лесико, Лесико, ты одна, ты одна. А что одна? Я и без него знала, что я одна.

И к Иордани – по снегам – а снега в Ямато выпадают иной раз могучие, не слабже, чем у нас – таскала их на худом горбу. А Иордань сияла и мерцала светом небесным, перламутром ледяным, грудью зимородка. И я окунала их в прорубь, и крестила их, и молилась над ними, над их мотающимися в ледяной Иордани остриженными по-армейски, кудлатыми, лысыми бедными головами.

И это я – я! – стояла перед меднозеленым Буддою в старом храме веры синто, и я и ему молилась тоже, я, крещенная во младенчестве в пьяных снегах, и все за них, за них, за веселых, с кем я время напролет веселилась, все веселилась и веселилась... а что еще делать бабе, как не веселиться в этой жизни, не веселить печальных мужиков?!.. эх, разгуляйся, моя душа, да вдоль по берегу моря чужого, зеленого!.. вот и у Будды того рожа была зеленая, как море, медная, тяжелая, глазки прищуренные, сладкие. В нутро он мне так и поглядел. И что со мной сделалось тут. Я легла на пол храма и раздвинула ноги. А он, Будда-то, склонился медленно, страшно так склонился, и приблизил широкий сверкающий зеленью и ужасом лик свой к моим ногам раздвинутым. И долго, долго глядел. Словно бы прощал. За что?! За что меня, скажи на милость, прощать?! Что я сделала такого?! Плохого?! Ведь ничего! Ничего, кроме...

Забота, счастье, радость. Кому они нужны. Я все время совершала это с людьми. И веселье, да, веселье, я и забыла. Ты же хочешь веселья. Ну ты и повеселишься со мной. Веселей меня никого ты в мире не найдешь, клянусь тебе.

– И что... тот Будда?..

– Ничего. Я же была девчонкой бедной. Мне оставался только крик. Вот я и кричала. Кричала, и крик отдавался в углях и под куполом храма. Вся душа моя сошла на крик.

Ты обхватил меня крепче, притиснул к себе. Как-то надо было добывать золото из-под полы нищих туч, богатых ветров. Из карманов зимней чужой мглы. Без родины. Без любви. Ах, баба, тебе бы все любовь подай! А ты попробуй так. Без любви. Ишь, жирно будет. Любви захотела. А без нее?! Вот и стала я расхожей, медной земной тварью. Мелкой чешуею. Колючкой фугу. В снегу, в грязи меня найдешь – не подберешь. Жалко будет трудов наклониться. Потанцуй со мной, мой Господь. Потанцуй, прошу, со мной. Я не Господь! Нет. Ты Бог. Ты явился мне вдруг. И я боюсь тебя. Ты сделаешь со мной то, что Бог всегда делал с людьми. Разорви мне платяной мешок до конца. До срама, что стал светящей святостью. Докончи, что начал. Я сегодня напилась пьяной до радости лица, до безумья языка. Язык мой мелет вранье; не слушай его. Ты же видишь всю меня. Лучи твои пронзают меня, как зеленую, у берегов Иокогамы, волну.

Ты нашел меня, уже седую, нищую, пьяную Лесико-сан, на дне огромной жизни. Ты узнал меня, твою святую. Когда мы вернемся в родные снега, богомаз намалюет нас на одной дощатой стенке в собачьем деревенском храме. Там не будет меднозеленого Будды. Там будет наш Бог,

и там будешь ты. Там нас и обвенчают. Танцуй! Бейся! Забейся во мне! Они, все, что вокруг, ничего не скажут. Я забыла о них. Стань серебряной, дикой рыбой! Я разожму развилку ног. Втиснись раскаленной глыбой в меня. Влейся в меня кипятком, в дым моей сожженной черной жизни. Вживись. Вонзайся, Вбейся. Вбивайся, молоток. В доски чрева. В изъеденные древо-точцем ребра души, где – упейся в дым!.. залейся рисовой водкой!.. закурись опиум!.. – весь мир, жесток и жалок, похоронен!

– Как тебя звать?..

– Смотри, они на нас смотрят... Тебе не стыдно...

– Как тебя звать?!..

– Зачем тебе мое имя... Лесико-сан... по-здешнему... по-родному – забыла... а ты что молчишь...

– Василий.

– Царь, значит!

– Я же вонзаюсь в тебя... а эти безумные... они пьяны...

Мы тоже пьяны. Так, любимый! Еще раз любимый?! Нет! Нет! Впервые – любимый! Внезапно – любимый! Корчись! Жги! Втанцуй в меня – вглубь и в темь – и навек – и мимо ужаса и грязи – танец огня и чистоты! Так танцуют боги, и ты омываешь мглу пещеры от плевков, освящаешь разрытую сапогами и зубами брюшину. Вы, пьяные, бездарные товарки! Пяльтесь! Завидуйте! Пришел тот, кто меня вырвет отсюда с корнем. Освободит.

Они же тарачатся на нас! Мы же обнялись, как обнимаются тайные бесстыдные любовники – при них! Прилюдно!

Вылупляйтесь. Зрите. Жрите нас глазами. Мы есть. Мы перед вами. Мы, пара, единственная настоящая пара среди всех подделок и липучек. Огонь течет вверх по животу, по ребрам, все вверх и вверх, добирается до лица, где яркий смех, где ослепительные слезы. Тыходишь в меня еще глубже – всей жизнью своею. Так сцепились наши чресла?! Лица – слились?! Это мертвое лицо – воскресло?!

Это жизни воскресли! Это жизни слились! Ты люби не нутро мое, не лицо мое, не глаза мои и руки мои – ты люби мою жизнь, мою бедную, единственную жизнь, которой завтра не будет, которая сгаснет – не успеешь и вздохнуть.....

.....но я люблю и лицо твое. И лицо твое.

.....и лицо мое, любимый мой, пей, кусай, сжигай щеками, вбирай ртом, чтобы брызнул Божий сок, чтобы через край хлынул, чтобы задрожали людишки жалкие, грязные кимоно разлетелись в пух, разбитые гэта вспыхнули в печи, гости упали на колени, деньги посыпались из карманов, зазвенели... – а, звон, это колокола звонят, звонят над розовыми снегами!.. – чтобы рюмки и чашки со столов – полы задрожали, земля покачнулась – смахнулись ветром: дрызнь!.. и вдребезги!.. – а это мы танцуем с тобой, ты пронзаешь меня, я вбираю тебя, и бешенство соединенья неостановимо: оно слаще Солнца, светлей звезд, – здесь, на дне грязного, вопящего на разные голоса борделя, среди швали и оческов людских, среди оглодьев мира и охвостьев войны, мы нашли друг друга, и не отпусти меня, не потеряй меня! Не урони меня! Не.....

А не сможешь – жизнь напрасна.

Вот нож.

Убей.

Не пожалей.

Где нож?! Что ты мелешь?!

Вот нож. Вот он – в моих чернявых, густо вздетых волосах, меж длинными булавками и бантами. Вот он, мой кровавый танец, красный камень меж грудей – ты не заметил его в дыму. Это дом дыма и Востока. Это Восток, дурачок, пьяный русский морячок. Тебя опоили сакэ. Ты набредил Бог знает что. Ты принял меня... за кого... я... приняла тебя?!.. В дыме снега... в

саже тьмы... Это сон. Это меня ударило током от электрической рыбы. Повар Вэй таких ловит иной раз и притаскивает девкам для смеху. Подносит к руке, а от рыбы – дерг! – страшная боль. Невероятная. Дух вылетает вон из тебя. Потом возвращается зреньё. Вэй, злыдень, стоит и смеется, а руки его... его руки в перчатках... Смерть можно держать на руках, закутав ее в полотенце и напялив перчатки. Ты... держишь меня голыми руками?!..

– На черта мне твой нож... У меня... у самого есть... в котомке...

– Ты так и не снял котомку, глупый... тебе же тяжело... ты так в ней и танцевал...

Соль залепила веки. Соль в узлах железных жил. Нагая девчонка щиплет нежный сямисен. Еще минуту назад он вопил, как резаный. Как поросенок или теленок, которого тащат резать. На смерть. А нынче тонкая музыка. Тайная. Титоси ласкает струны, раздвинув тонкие ножки, кажет потным гостям живую раковину; она вынула – и когда успела? – жемчуг жадной женской жизни, растворила дотла в бокале китайского вина. Рот твой входит в мой рот. Чресла во чресла – эту цепь не разбить ни чугунным ломом, ни рубилом-камнем. Над нами, вокруг нас бродит запах страсти. Это степной ветер. Всю степь занесло снегом. Ты видишь?! Поземка. Она стелется по белому покрывалу. Обнимает ноги. Воеет. Ты будешь тоже вот так, как она, обнимать ноги мне. Далеко, на краю неба и земли, блестит золотая чешуя: занесенная снегом церковь. Звон еле слышен. Это нас... венчают... отпевают?!..

Ветер. Ветер дышит нам в горячие лица. Ты стоишь, застыв, и держишь меня над собою на руках, на весу, насадив меня на себя, как Вэй Чжи – цыпленка на вертел. В каком вертепе спознались мы, Боже. Любовь моя катит горячей солью по виску. Стекает по щеке. Ты ловишь ее губами.

– Лесико... Лесико, дура...

Я дернулась и сползла с его живота. Упала. Скользнула вниз – он не успел меня удержать. Щекой ощутила не холод истоптанного пола – бархатную подушечку. Сумасшествие. Откуда?!

Шепот Жамсаран у самого моего лица, горла:

– Лесико-сан... ты устала... я принесла тебе подушечку, подстелить, чтоб ты отдохнула сразу, не доползая до постели... вы так танцевали неприлично... вы так безумствовали... вы так любились, как Тары в небесах... вы себя забыли... ты вся мокрая, пот течет с тебя... ты не плачь, вот тебе подушечка, ты отдохни...

Глупая, милая Жамсаран. Напротив моих глаз опять, как и тогда, при входе его в залу, были его ноги. Его грязные босые ноги. Я придвинула лицо, губы к его ногам и прижалась губами и лицом к распухшим, покрытым коростой пальцам и ногтям. Он стоял не шевелясь, лишь вздрогнул.

Я подоткнула под голову бархатную красную подушечку. Положила голову на нее. Под щекой горел ласковый заморский бархат. Господи, какая нежная ткань. Нежнее поцелуя. Господи, помоги. Господи, не покинь.

Я уткнулась в подушку лицом и залилась слезами.

Я плакала, плакала, плакала, плакала, плакала.

– Ну, пьяна совсем!

– Оставьте ее, госпожа, не трогайте, вы и так мучаете нас всех денно и ночью...

– Я покупаю эту девчонку! Она станцевала нам настоящую любовь!

Брезгливый визг Кудами-сан.

Твердый, как хрусталь, доверху полный презреньем голос Норы.

Мужичье, сквозь звон монет в кармане, бормотанье.

И твои ноги. Твои молчащие, костлявые ноги. Худые лодыжки. Торчащие лытки. Стопы сиротливые, родные. Рядом с мокрой от мгновенных слез вышитой бордельной думкой, что подкладывают не под лицо, а под зад – чтоб слаще было трястись в постели в постылом еже-нощном танце.

Жизнь – не благодать. И не благо. Жизнь – это кровь. Жизнь – это шествие зверей на казнь либо к опьянению любви. Каждая малая тварь хочет счастья. А счастье – жить; просто жить, даже если кровь из тебя хлещет потоком, неостановимо, и ты отлично знаешь, что жить тебе осталось под небом от силы час, два. И этот час, эти два часа ты пьешь наслаждение огромными глотками. Ты благословляешь Бога за отпущенную жизнь. Два часа кажутся тебе прекрасной вечностью. Твоя последняя молитва: не покинь.

Никто никогда не покинет никого.

Она всегда мечтала о красивой любви. О ярких тяжелых нарядах, роскошных тканях, обвивающих ее гибкое порывистое тело. О дорогих прозрачных камнях, что блестящими живыми искрами качаются, вонзенные в уши, мечут золотые молнии. Сильные руки хватают ее; возносят вверх, высоко; пронзительные глаза с восхищением смотрят на нее. Она никогда не хотела быть богатой. Ей не снились сны о богатстве. Ей не снились сны, где горел огонь, бушевал пожар – старухи говорили в деревне: это, верно, к деньгам. Богатые люди казались ей дикими зверями, жителями чужого и страшного леса. Туда нельзя было ходить ночью. Туда нельзя было ходить никогда. А вот красивая любовь... вся изукрашенная с головы до ног яхонтами, сапфирами... царственная... величественная... что это? Это... ну, это...

Боже мой Господи. Красивая любовь. Когда она из деревни приехала в город, в тяжелый, гранитный и мраморный град Вавилон с великим изобилием церквей, церквочек и церквушек, с яблоками и дыньками смешных желтых и алых куполов и крыш, с заиндевевшими мохнатыми ветками – ах, на ветках снежные виноградины висят!.. ледяные воробышки поют-заливаются!.. – с грязными вокзалами и тротуарами в семечках и содранных пьяными рабочими руками чешуях сушеной соленой рыбы, она сразу, пробегая с баулами по многолюдной улице – дома-ульи глядели слепо на нее, окна-соты медово горели в синеве холодного вечера, – увидела ужас в подворотне: мужик напал на девку, рвал на ней шубенку, заголял ей бьющиеся двумя белыми белугами ноги. Оба молчали. Молчал мужик. Молчала девка. Она, безымянная прохожая, стояла в воротах, по-бараньи, исподлобья, глядела на них.

Мгновенье спустя она поняла: никто никого тут не борет. Не убивает. Сражающиеся рухнули в снег, и она увидела девкино лицо. И ее рука сама поднеслась ко лбу для крестного знамения, а на уста взошла улыбка детской, дрожащей радости. Она увидела лицо валяющейся в снегу девки – полное радостного, розового морозного счастья, неистового веселья; она глядела на ее губы, раскрытые в ожидании поцелуя, слиянья, любви – чуть вывернутые, пухлые, молча смеющиеся губы. Лица мужика она не видела – лишь его затылок в сбитой набок ушанке. На лице девки, в ясном зеркале, отражалась его страсть.

Она прижалась спиной к воротам, чтоб не упасть. Когда прошло головокружение, она смущенно отвернулась и побежала прочь. Прочь. Она подсмотрела то, что должен был созерцать только Бог с небес.

А на небесах загорались над градом первые звезды. Град-пряник! – подумала она, улыбаясь, – это не Вавилон, ведь это Град-пряник. Его можно съесть, и он мятой и корицей просияет на губах и губах. Его можно поцеловать. Она наклонилась, черпнула в горсть чистого, свежеснежавшего снега. Прижала к снежному кому рот. Здравствуй, жизнь моя. Красота моя. Зачем я сюда, в тебя, в град чужой и ледяной, приехала одна?!

Она не знала, что в ее жизни тоже будет подворотня.

А она так мечтала о красивой, нежной любви, и чтобы вся она, нежная и любящая, была обернута в вишневый панбархат и алый атлас, и рубины унизывали ее пальцы, а в темных косах горели кровавые турмалины; она никогда не видела самоцветов, и ей чудилось, будто самоцвет – залог Ангельского, занебесного счастья, счастливее мужской любви, радостнее Херувимской в церкви; красивую любовь нельзя было не окутать сплошной красотой, и она, закрывая глаза, видела себя в объятьях красавца, и свет исходил от лица прекрасного любовника, как от Солнца. Она купила за гроши у старичка на набережной зальделой узкой реки старинную книжку; там были картинки. На одной картинке она увидела себя. Она была индианка, с красным тавром во лбу, меж бровей, а ее держал на руках смуглолицый юноша, красавец ее снов. Лицо у юноши было черное, лиловое, синее. Черные его кудри обнимала диадема. Она – о да, настоящая она! – на его руках смеялась, обхватывала его крепко за шею. Щурясь, склонившись над книгой, покраснев, она разобрала подпись: КРИШНА И РАДХА. СВЯЩЕННЫЙ ЛЪС”. Пожала плечами. Усмехнулась. Вот, значит, как. Уж эта Радха, должно быть, не работала на фабрике. Не чертоломилла на поденке. Козочек, небось, пасла. Вон они, козочки, выбредают из Священного Леса. Щиплют травку. О, как она хочет быть Радхой в тяжелом синем шелке, с жемчугом на смуглой шее, на руках у черноликого Кришны! Точно, он царь. А хороша любовь царя. Уж царь-то оденет тебя во все царское. Роскошью охватишься... красотой омоешься. Она покосилась на старый медный умывальник на стене. Зато дешево за комнату платить. И то, если она не заплатит в срок, хозяин ее живо отсюда сгонит.

Неужели она когда-нибудь станет старой?!

Она медленным шагом подходила к зеркалу. Она украла это зеркало в бане. Старое, битое зеркало, сползающая чешуей с изнанки амальгама. Она заглядывала в зеркало, и ей становилось страшно. Так она была хороша. Так далеко, там, на дне водяных разводов и серебряных струй, в кромешной тьме, маячили, всплывали, исчезали, пугая, призрачные тени, фигуры. Лики из будущего. Или из канувшего, дальнего прошлого, что и бабки, и прабабки уже не расскажут никогда, ибо было такое прошлое еще до бабок, до прабабок, до времени, до всего. Когда подходили Святки, она на зеркале, перекрестясь, гадала. Одна. Подруг в Граде-прянике она не завела – к чему ей были подруги? Она работала весь белый день, вечером притаскивалась, усталая. Мыла ноги себе, ставила в таз с горячею водой. Мыла и думала: вот я ноги мою себе, а когда-нибудь буду мыть кому-то. Мужу? Мужу? Этому... одному из тех, что шатаются по улкам да переулкам, запьяненные, папироска в зубах тлеет нежненько, ругань в кулаке, сапоги – по снежку – хрусь да хрусь, эх, никого не боюсь?! Они пахнут мазутом и ваксой. Сажей паровозной. Свежей пенькой. Серой и рыбой. Они пахнут жестоким и торговым миром, маслом, которым смазывают машины и моторы. Они хотят, чтоб им варили суп, начищали на ночь сапоги, чтоб утром всунул ножищу да побежал резво, штопали продранные на локтях рубахи и пиджаки, ложились с ними в нищую потную постель. Они... А ты, эх ты: Кришна, Радха. Она зажигала свечу, сжигала смятую десь бумаги, клала кольцо в стеклянную чашку, ставила чашку на кучку пепла, перед зеркалом. Дрожала от страха. А вдруг войдет хозяин? А вдруг гаданье сбудется? Все девицы гадают. Она что, хуже девиц? В зеркале ходили тени и пластались крылья. Она неотрывно глядела на отраженье круглого железного кольца в зеркале, в колышащейся мгле.

Когда из кольца на ее глаза наплыла тень в виде человечьего, мужичьего лица, расширилась, вспыхнула золотом и ужасом, она даже не закричала.

Она свалилась с колченогого стула на пол, стукнувшись головой о торчащую на краю стола чашку. Вода вылилась ей на затылок. Чашка разбилась. Она очнулась через миг-другой. Повела глазами. Вспомнила все. Затрясла головой. Не поверила.

Ее затащил в подворотню и насильничал мужик с лицом точь-в-точь таким, какое приделось ей внутри кольца, в гаданье на морозные святки.

И там она не кричала. Что толку было кричать. Он наступал ей ногой на спину. Заламывал руки. Раскидывал на снегу, на твердой, блестящей под звездами и синей мертвой Луной корке наста. Редкие авто шуршали шинами. Звезды звенели далеко, высоко. Им, звездам, было все равно, кто и когда и как внизу, на земле, страдает и мучается. Кто там кричит, хрипит или молчит, зная доподлинно, что все напрасно.

Когда он разодрал ее изнутри, вспорол, грубо и страшно, она сморщила лицо и подавила, загнала глубоко внутрь себя стон и плевков ему в мохнатую рожу, готовый уже вылететь из полного тошнотой и слюной, искусанного рта. Она пожалела, что ни с одним мальчишкой там, в деревне... Ни с одним.

Это мы. Это мы с тобой. Кришна и Радха.

Козляточки идут, блеют, раскачивают на шеях колокольчики; птички перекликаются в ветвях. Нет ни скрежета, ни ужаса, ни грома. Ни взрывов, ни выстрелов. Нет проклятий, летящей сажи, черных, по ветру, хлопьев. Есть мы, и сияет сапфир в моих смоляных волосах, и переливается отборный жемчуг у меня на груди. Этот жемчуг – из раковин страны, что горит и пылает всеми дворцами своими на Островах; Офир либо Иаббон ее имя, и там ныряльщицы, ама, ныряют глубоко в соленое море, и хватают голыми руками ракушку, колючую, рогатую, тяжелую, как людское горе, и тянут ее наверх вместе с остатками воздуха и жизни в груди, и вытаскивают на берег из последних сил, и уже полумертвыми, слабыми, сморщенными пальцами вскрывают. А там – внутри – горит розовая горошина! Черная чечевица горит! И ослепительная, белая, золотистая, неспелая земляника пылает, льет нежного света лучи! Это горит и пылает любовь, милый Кришна! Осязай ее; целуй ее. Я настолько твоя, что ни в сказке сказать; и сними с меня длинный льющийся шелк, и уложи на мягкую изумрудную траву, и ласкай так, как коза ласкает новорожденного козленочка: языком, дыханьем, всем нескрываемым счастьем своим.

Или нет: мы не Радха и Кришна. Мы Руфь и Вооз. Царь Вооз путешествовал, устал в пути, попросился на ночлег, отдохнуть. Его приютили в деревне, уложили в сено, на сеновал. А ночь была с колокольцами, с гирляндами, со связками сушеных вишен под дощатым потолком, праздничная такая ночь. Овцы жевали сено... огонь бился и гудел в очагах, путники спали, храпели дико, как львы. И я взобралась к тебе на сеновал по кривой, разошедшейся лестнице, и сено пахло вином и сухой ягодой, и первой моей любовной, детской кровью. Я была девочка, а ты был старый великий царь. И ты был нежен со мной так, как нежен ветер с цветком, состоящим из жалких пушинок. Мне было больно лишь один миг. А после все овечьи колокольцы, все колокола мира взорвались над моей головой неистовым счастьем. И ты, целуя меня, надевал на меня болотные хризолиты, луговые хризопразы, озерные агаты, речные перлы, лесные аквамарины; ты, радуясь и смеясь, безотрывно целуя тело мое и душу мою, украшал меня вышитой звездами и ленивыми планетами ночную тканью, и мерцали, играя, в моих волосах кирпичный Марс и синяя Венера, и я целовала ее холодный лазурит, и подносил ты лицо свое, старый Вооз, к моему радостью сияющему девичьему лицу, так, как подносят святыню, изукрашенную сканью и синими скарабеями, чтоб к ней, золотой, приложились смертные соленые, в сле-

зах, дрожащие губы, и я целовала мою золотую святыню, я миловала ее, я шептала близ нее: Вооз, Вооз, о, будь со мной, не уходи, побудь еще, сено так сладко пахнет, я так люблю тебя, я так прекрасна сейчас перед тобой, усыпанная драгоценностями мира, твоя девочка, твоя жена, твоя плоть, твоя единственная. И ты говорил мне: да, ты моя плоть и моя душа, Руфь, и все богатства и царства мира, и все его ценности и сокровища, все его золото и рубины и сапфиры и виссоны и смирну и иные благовонья и самоцветы я не отдам за один взгляд твой, на меня кинутый, за один поцелуй твой, на уста мои положенный. И ты входил в меня так, будто я сама всаживала себе в грудь, в плоть благодатный спасительный кинжал, устав от проклятой жизни, молясь счастливой смерти.

И я знала, что великая любовь – сродни смерти; она рядом со смертью идет, так близко, что нет и зазора меж ними, ни щелки малой.

И я кричала, катаясь в душистом сене: Вооз, Вооз! Ты не забудешь свою Руфь?! Не забудешь ты Руфь свою?! А ты кричал мне в ухо, молча, шепотом, в ответ: как же я забуду тебя, красота моя, если ты родишь мне ребенка, от такой любви только дети и рождаются, и только красивые дети, потому что все вокруг, и эти сухие цветы – полевые гвоздики, клеверы, ромашки, – и этот старый сеновал, и звезды в проеме крыши, и морозный воздух, и лошадиное ржанье на дворе, и мычанье коров и быков, и запах зерна из крепко увязанных мешков, спящих в кладовых, все, все пропитано, как хлеб – терпким вином, нашей красотой, нашим счастьем и чистотой, нашей волей! Любовь, Руфь, – ведь это воля! Ты волен любить, а это – воля Божья. И две воли сливаются, и ты исполняешь тогда то, что не может не быть. А потом – хоть небытие. Мы уже сбылись. И умысел Бога сбылся.

И я кричала опять: а страданье! А страданье, Вооз! Великое страданье, коим надо заплатить за великую, большую любовь! Где оно! Как избежать его! Как отвести его, отмолить! Я не хочу его! О как я его не хочу, Вооз, если б ты знал!

И отвечал мне Вооз, жарко дышал мне в ухо всей горящей душой своей: я тоже его не хочу, родная! Но как ты сорвешь шиповник, не поранив руки?! Как ты сядешь на лошадь и поскачешь, ни разу не упав, не ударившись головой об острые камни?! Дети, играя с огнем, обжигают пальцы и плачут. Плачь и ты, если страданье придет.

Оно навалится тьмой! Всей тьмой навалится оно!

Не бойся. Жизнь – это не блаженный сон. Не сладкий пирог. Пусть приходит боль. Пусть обнимет тьма. Жизнь – это путь через тьму. Через времена. Я с тобой. Я с тобой. Поцелуй меня еще. Иди ко мне еще. Иди ко мне. Всегда иди ко мне.

И сухие иглы и колючки высохших полевых цветов и трав кололи нам голые спины, локти и голени, впивались в ягодицы, и мы впивали губами губы друг друга, как сладкие ягоды, чуть подсохшие на жарком летнем Солнце, о, такие сладкие зимой, в завыванье метели и поземки, – сухую вишню, сухую клубнику, сушеную малину, – Господи, какая сласть, дай мне еще вкусить, пока я не умерла, пока я еще не умер, пока мы оба здесь, еще здесь, еще рядом, вместе, еще друг в друге, еще одно, еще один живой цветок во всем сухом, мертвом, морозном, выстывшем, голом.

ГОЛОСА:

А-ах, эта девочка у меня недолго комнатку снимала... Скромная такая. Молчаливая. Все молчит да молчит. Работать хотела, и работу в Вавилоне находила. Вавилон – город

проклятый; замучает кого хошь. Девоньку мою тоже мучали, мышцы ей работой выкручивали. Где приветят, а откуда и погонят. Она мне ничего не рассказывала. Ну да кто я? Я ей каморочку сдавала, за грошик. Я-то сама голь, беднота. Я и грошику была рада. Она мне: бабушка, вам водички принести?.. Воду в ведрах с водонапорной башни таскала. От дома это далеко. Идет, хрустит по снегу сапожками, ведра налиты всклень, тяжелые, как гири в цирке, а она идет и не гнется, а сама худая. А сапожки модные, высокие, на каблучках, на шнуровке. Дорогонько, однако, в Вавилоне стоят такие сапожки! Я постеснялась ее спросить: откуда, мол, девка, у тебя монеты на дорожную покупку нашлись?.. Такой монетой не за поденку платят... Побоялась. Думаю: у каждого тайны свои. А Господь и так все знает. От Него не спрячешься. Перед Ним ты и так голый весь, как в день рожденья.

А потом, неделю спустя, гляжу ей на ноги: сапожек нету. Нет как нет. Тут уж насмелилась, спросила: где? Она покраснелась вся. Шепчет: это я брала на время, у подруги, поносить. Да врешь ты все, думаю. Просто жрать тебе не на что, взяла ты и продала свою непотребную роскошь. Вот и вся песня. И опять на ноги ей гляжу. А ноги – на снегу – в матерчатых тапочках, это зимой-то, все равно что босые. Я сжалась, ей свои галошки поносить дала. Не подарила; что я – Царица Небесная, что ли, подарки ни за что ни про что делать приبلудкам; а так – жалко девку, на, поноси чуток, да не износи до дыр, а то возместит ущерб заставлю.

Он поднял ее на руки, спящую. Она уснула мгновенно, припав щекой к краснобархатной подушке. Что бормотала – не разобрать.

Он стоял с ней на руках, закрыв глаза, будто тоже спал стоя, как конь. Он видел ее и с закрытыми глазами.

– Да она же вусмерть пьяна! – крикнула Кудами, отвратительно, насмешливо осклабясь, втыкая в зубы длинную пахитоску. Маюми услужливо поднесла госпоже огня, керуленский табак затлел, задымился. – Ты, морячок! Голодранец! А тебе будет чем за мою девочку заплатить! Она, знаешь ли, хоть и любит к бутылочке приложиться, а норовистая лошадка, и стоит дорого, будь здоров! Золотом за мою девчонку платить надо! У тебя звенит ли в карманах?!.. давно ли ты сам из осакских трушоб, да ты ведь из плена сбежал, неужели я не вижу, у меня глаз наметан! Ты, побирушка, бродяга! Наши моряки ваших крепко побили! И еще будут бить! И наши моря не для вас, доходяги! Наши маленькие острова, а воины сильные! Сильней всех в мире! Ибо нас учат умирать! И даже в плену! А тебе стыдно должно быть; что ж ты стоишь, держишь девчонку, глупец?!.. Плати да иди! Где монеты! Ну!

– Он... потом заплатит, Кудами-сан, – подобострастно завияляла у складок пышного хозяйского кимоно Маюми, спасая и подругу, и ее гостя. Станный гость. Станный, внезапный сон Лесико. Опоил ее кто вареным опиумом? Станный, духмяный дым обволакивает молчащую надменную морду Кудами; словно бы и не пахитоску она курит – а сандал жжет. – Он... пускай удалится с Лесико!.. он долго шел, он путник, ноги устали, босиком... вы плюньте на них, ведь вот музыку снова можете заказать, велите услать Титоси, и она устала, а хотите, мы сейчас вам сами пригоним из номеров китайских музыкантов, они на трещотках играют, на бэнь-фу... и девочкам вина, вина хорошего закажите!.. самое гулянье только начинается... богатые гости повалят... как снег из двери повалят, вот как пить дать, вот Буддой клянусь вам, госпожа, мизинец отрезать свой дам...

Кудами махнула рукой.

– Сгиньте! Только мне о всякой швабре и думать!.. А эти, сбежавшие из плена... подзаборники... чуть научились языку Ямато – и сразу же к девочкам!.. А впрочем... знают толк... а-а-а...

Зевок. Зырканье сметливой Маюми. Ах, он закрыл глаза. Он не видит. Дурачок. Совсем помешался от нашей Лесико. Маюми больно и мгновенно наступила ему на босую ногу ножкой, обутой в деревянную гэта. Он дернулся, ожег ее глазами, спросил шепотом:

– Куда идти?..

Кудами отвернулась, показывая жирную широкую спину под жирно блестящим шелком кимоно. Ноздри ее раздувались – она жадно нюхала ароматы дурманного дыма, исходявшего из курильниц, трубок, чубуков, пахитосок. Маюми согнула пальчик, поманила: сюда, сюда, быстро.

Он, со спящей Лесико на руках, чуть ссутулясь, пошел за Маюми по переходам, этажам, темным лестницам. Тени мелькали перед ним. Люди, лица. Неужели они были живые? Неужели он сам был жив?

В маленькой каморке он бережно, легко опустил ее на кровать – опустил, как поднял. Как летел вместе с ней в чистом небе.

– Проснись... проснись. Нет, спи. Спи, царица.

Почему он назвал ее царицей? Господи, он не знал. Чужая страна. Чужая земля, Господи. Искалеченный хитрою речью язык. Зачем он ее увидал? Ведьма та, черноволосая, живущая у моря. Это она снабдила его запиской в бордель. А он даже не воспользовался клочком бумаги с жалкой горсткой жучков-иероглифов.

– Спи... я с тобой...

Она шевельнула плечом, будто отгоняя стрекозу. Ресницы дрогнули. Стрелки вниз, враз-нокошь. Глаза. Ее темные, сияющие, льющиеся, как дожди, сладкие вишни, глаза, окна в ее мир. Сколько же она страдала! И как! Он поцеловал ее глаза – один, другой, так, как целуют край иконы в церкви, в душистой медовой мгле, пронизанной огнями, шепотами, солью слез.

– Василий... О Боже мой... Ты... не знаешь, как я жила... Ты не знаешь, кто я... Ну да, ты знаешь...

– Знаю.

– А я зато не знаю теперь... Я...

Он не дал ей договорить. Ее рот вплыл в его рот, и вся неистовая нежность истекла из тайников, обнаружив явь и неиссякаемость. Они вдохнули друг друга и задохнулись вместе. Оторвались друг от друга. Засмеялись.

– О радость! Радость моя! Откуда же ты явился!

– Мы говорим по-русски?!..

– А то как же?.. Устала ты здесь. Вижу.

Он держал ее лицо в ладонях. Сжимал щеки. Она тихо глядела на него. Две соленых дорожки, то влажных, то белесо сохнувших, пролегали по ее скулам.

– Я тебя отсюда утащу. Уволоку. Здесь тебе не место. Здесь тебе не житье никак.

– А с тобой?! Скитаться по Ямато?! Голодать... умирать под забором?!.. Схватят, закинут в яматскую тюрьму... тот же бордель, только здесь есть кровати, бельишко, розочки в вазочках, еда, курево, водка, а там... там каменные стены, крысы... решетки... битье палками, если ихнюю бурду не станешь жрать...

Против воли вырвались слова. Слишком много страданья. Слишком. Он излечит. Он снимет боль.

Он сильно, до звона в костях, обхватил ее. Прижал ее голову к груди.

– Я спасу...

– Тебя самого, – она выпросталась из его объятий, радостно облила ярким, радужным светом ослепительных, победных глаз, – спасать надо. Из какого Ада выбежал ты... ты!.. я же тебя ждала всю жизнь... тебя...

Он крепче притиснул ее. Она слышала колотьбу его бешеного сердца.

– Луна выглянула среди ночи, – хрипло заговорил он. Она закрыла глаза. – Луна. Огромная. Рыжая такая, как рыжая девка. Такая яркая, что звезд не стало видеть. Тучи ушли. Море не шелохнулось. Оно лежало смиренно, тихо, такая, знаешь, темная, мрачная шелковая ткань – из таких материй шьют здесь свадебные кимоно: мгла и блески, тьма и блики, звездные вспышки... ручьи метеоров по небу... Луна озарила широту моря. У меня закружилась голова. Я увидел... там, на горизонте... далеко... стояли они. Много! Их было много, Лесико! Они...

Он задрожал. Лютый холод была сужденная жизнь. Море Яматское теплое? – враки. Море Яматское холоднее льда; и пловец в нем не заплывет дальше акулы, и корабль не пройдет и узла, как Бог завяжет на нем смертный узел.

– Кто они, Василий?..

– Миноносцы. Они страшные, Лесико.

– Почему мужики воют?!.. Ну почему, Василий... почему... Неужто нельзя без смертей... без выстрелов... и чтобы не расстреливали, не взрывали... Почему это вы, мужики, придумали нам всем, людям, страдание?!.. Ненавижу вас... ненавижу!..

– Стой... стой!.. Не кипятись... Лесико... ну погоди...

Она вырвалась и заколотила его кулаками по груди, по спине. Он поймал ее в охапку, как зверя, медведя. Покрывл ее лицо поцелуями. Она засмеялась, заплакала в одно и то же время.

– Слепой дождь!..

– А ты... Ты Солнце мое...

– И у нас, знаешь, в запасе оказалось всего полчаса. Полчаса до смерти – много или мало? Через полчаса на отмели перед Императором Павлом” взорвалась первая торпеда. Другая прошла под кормой. Взрыв жажнул в глубине бухты. Стеною пошел огонь из орудий... прожектора слепят, огни, крики, стрельняе беспрерывное... нам нельзя было приблизиться для точного выстрела, а мы хотели ответить!.. ох как хотели... И отвечали... Лесико, отвечали же!..

Он стиснул ее плечи. На ее лице висела, чайкой над розовым утренним морем, улыбка – тихая, сонная, бредовая, застывшая. Тяжелые веки прикрыли счастливую ярость кричащих о любви глаз. Он поцеловал ее прямо в улыбку.

– Я не помню всего... гул стоял, грохот... И этот дикий огонь кругом... Мы ведь тоже воины, милая. Мы стреляли хорошо. Пусть они не думают, что мы лыком шиты были. Мы им показали дрозда! Один миноносец перевернулся... два, нет, кажется, три лишились хода, их утянули на буксире... Торпеды все летели и летели! Я думал – им не будет конца... Нет... все... кончились когда-то... И все это в ночи, в безмолвии моря, под яркой и наглой Луной... под разводами, снежными узорами яматских метеоров и болидов... Такой огонь метался, Лесико. Наш крейсер ранило. Все были изранены крепко, насмерть – и крейсера, и броненосцы. Сколько крика я вокруг слышал! Вопли... люди жить хотели, слышишь, жить... Старпом истекал черною кровью, руку оторвало у него... Я видел мясо, лохмотья... я плакал. Слезы вскипали у меня в глазах и испарялись – все загорелось от взрывов, все трещало вокруг меня... Я видел капитана, он лежал на палубе без обеих ног... Крейсер заваливался на нос, носом уходил под воду, дифферент на нос... так страшно – корма вздымается вверх, будто корова зад задирает, чтоб с быком поиграть... А бык-то меж звезд летит, и красный глаз его горит, Альдебаран...

Ты знаешь, как зовут звезду Альдебаран?..

– Я в звездном небе малость разбираюсь... меня штурман слегка подучил...

– А кто-нибудь спасся в том бою?.. О, не отвечай, если не можешь ответить...

– Вот... я. Больше ни про кого не скажу. Не знаю.

– А... корабли?..

Он пошарил глазами вокруг. Увидел фарфоровый чайник на столе. Потянулся к нему.

– Налью... Пить хочу. – Плеснул в чашку, отхлебнул. – Ух ты, да тут заварка непростая!.. с бергамотом, с лимонной коркой... еще с сушеными голубыми цветочками какими-то... не цикорий?.. Нет?.. Хитры восточные люди, чего ни напридумывают для своего услаждения... Молчанье обняло их и закачало в утлой, мягкой, сонной люльке.

Прошла тишина. Много дней, годов и веков тишины. Они прожили вместе множество жизней, промолчали их, прожгли меж горячих пальцев, процеловали горячими губами. И тишина выдохнулась выдохом; и они улыбнулись ее умирая.

– Когда я тонул, мне побредилось... крейсер, живой, выходил на внешний рейд, вставал в бухте Белый Волк... И снова огонь; и снова ужас! Они опять атаковали его... голову на отсечение!.. они не смогли смириться с тем, что мы не сдались... Они хотели, чтоб мы просили пощады... мы... мы...

Он заскрипел зубами. Сотни торпед взорвались под крейсером, в сетях, на глубине. Акулы морды, смейтесь. Он чудом выплыл. Он мог оказаться в плену. Он мог уже гнить в гнусной яматской тюрьме, вгрызаясь цинготными зубами в плесневелый хлеб, жуя рис, воняющий дохлыми мышами. А вместо этого он сидит на мягкой кровати в борделе с прелестной шлюшкой, с русской, и она восторженно смотрит на него, еще бы, ведь он для нее – герой. Она же тут, в дыре, где едят водоросли и морских ежей, ни разу не видела героя!

Что ты брешешь сам себе. Что ты брешешь.

Ты же сам нашел ее.

Я же сама тебя нашла.

– Мы стреляли из двенадцатидюймовок... провались все на свете!.. но капитан был так осторожен, он берег наши силы, он не велел... Все равно мы перебили их миноносцы пополам!.. Все равно...

Она схватила его голову в руки, сжимала ему ладонями виски, и он корчился и кричал.

– Не надо про это! Перестань! Брось! Не надо! Ты сойдешь с ума! Это я виновата! Я дура! Я не могу, когда ты страдаешь! Лучше я пусть буду гнить в могиле, чем я буду видеть твои мученья, твою боль! Пусть меня всю перекорежит от боли, вывернет наизнанку, лишь бы тебе больно не было! Брось! Забудь! Прости меня! Прости меня!

Он откинулся на подушки. Лицо его сияло, бледное, белое, куда и смуглота морская испарилась.

– Тише... тише, родная, – сказал он резко, как обрубил. – Это ты меня прости. Я увидел опять это виденье. Вся жизнь – это цепь видений. Вся жизнь – это одно большое виденье. И мы или видим, или не видим. Все очень просто. Я вошел и увидел тебя. И мне от жизни больше ничего не надо.

Она прикоснулась к его лицу губами – легче крыльев бабочки махаона, легче лепестков лотоса.

– Ты похожа на лотос. На черный лотос. Он растет на воде, лежит на плоском листе и покачивается. А бывает, чудесная моя, черный лотос?

Она медленно стянула с себя черное кимоно, расшитое по животу и по спине желтыми, золотыми огнедышащими драконами. Он наконец увидел ее всю – тонкое, долгое тело, длинная, стебельком, шея, круглые маленькие груди, чуть, по-козьи, торчащие вниз и врозь, тонкая – пчелиная – талия, округлый, в полосах белых шрамов, живот со впалым пупком, а ребрышки-то над животом торчат не кормлено, умильно; бедра широкие, даже слишком широкие – от узкого – переломы двумя пальцами – подреберья вниз расходилась, сильно и до задыханья мощно, красивая и торжествующая широта и маета: майся, мужик, умирай, гладь ширь белого моря, выгибы белой нежной земли грубыми ладонями, шершавыми кистями пахаря, воина, убийцы, плотника, оружейника! Тебе не понять, отчего эта красота есть; от кого рождена. Гладь и целуй. И благословляй. И ноги, ноги – видишь, какие у нее ноги, голени книзу

опять сужаются, как у коняшки, у породистой кобылки, щиколотки тонкие и хрупкие, ступни маленькие, рыбками, – только такими по снегу ступать, по первоупутку, такими Божья Матерь уходила вдаль, по первому снегу, розовому, синему, светящемуся тысячью искр, – вдаль, от страдания, от Распятого на Кресте во снегах, вдаль и без оглядки... Ходила ли ты когда-нибудь босиком по снегу, милая? Хочешь ли ты пройти по снегу когда-нибудь, милая, босиком?!..

– Хочу... хочу!..

– И я тоже... хочу... и всегда... и во веки веков...

Он забыл все. Забыл, как выплывал. Забыл генерал-лейтенанта с непокрытой лысиной, с горбатым и злым носом, что орал: не сдадимся! Не позволим!.. Что и кто – кому – когда – позволял? Он позволил себя вздернуть руку. Положить ее на голую грудь девушки... женщины... что наклонилась над ним, голая вся, и, улыбаясь ослепительно, счастливо, полная счастья, безумного, отчаянного, хриплым дыханьем, слезами из глаз рвущегося наружу, безотрывно глядит на него. Кто эта женщина? Если б час назад ему сказали, что он влюбится в портовую шлюху, он бы посмеялся, выкурил бы папироску или трубку, чтоб успокоиться от смеха. Кто такие мужчина и женщина? Он не Господь, чтобы отвечать на вопросы. Бухта Белый Волк. Белый Волк. Красивый, должно, зверь. В Индии, матросы брехали ему, есть и белые тигры. Они белые, снежные, а по бокам у них плывут черные, нефтяные полосы. А глаза у тех тигров розовые, алые, как бордельные фонари. В Ямато, небось, такие тигры тоже водятся. О как хороша эта женщина. Хороша?! Хороша?! Что ты мелешь сам себе. Ее горящее лицо склонено над тобой. Черные, темные, пушистые, тонкие, хулигански встрепанные волосы подняты вверх, собраны в смешной, корзиночкой, пучок, заколоты длинными ужасающими, как кинжалы, шпильками... или булавками, он не разбирается в женских премудростях. Хороша?! Кто бы так когда говорил. Если б кто так сказал, он бы ударил его в грудь. Или – еще лучше – в лицо. Ее лицо просвечивало со дна моря там, в бухте Белый Волк, где он едва не нашел свою смерть. Любовь, смерть. Смерть, любовь. Почему человек так хочет любить. Ведь без любви жить проще. Смелей без любви жить. У нее красивые брови. Темные, круглые. Невыщипанные. Она никогда их не щипала – здесь, в Ямато, где женщины часами, днями напролет сидят, стоят, вытянувшись в струнку, перед зеркалами и трудятся, высуня язык, старательно, щипчиками, выдергивают себе из бровей волосочек за волосочком, морщась и стеная. У нее красивые глаза. Он тонет в их сияющей тьме. Он принял ее за яматскую бабу. Черные – значит, раскосые. Ах, раскосинка и вправду есть. Чуть заметная. Какая бесовка, а! Какая... святая...

Он одной рукой трогал ее грудь, другую зажал себе рот. Крик едва не вырвался из его перехваченной дрожью любви глотки. Там! Там, в России. Далеко, в снегах, в родном посаде. Там, в Парфентьевом Посаде, где в сорокаградусный мороз сосед Павел Тимофеич пускал в галоп резвую лошадку Люську, чтоб она разогрелась и взметала метель хвостом – красавицу, серую, в серебряных яблоках, – там, в церкви Успенья, он видал эти глаза последний раз. В тяжелом серебряном окладе, выглядывая из кованых, блестящих серебристо-зимних оков, из скани, усаженной вдоль и поперек настоящими, из недр Уральских и Кольских, издалека привезенными смарагдами и рубинами, глядела на него вот этими, этими бездонными глазами, притискивая бледненького, тщедушненького Младенчика ко груди, долго – веками – молчащая Северная Богородица, и он, потрясенный ее взглядом, широко покрестился ей, поклонился в пояс, да так и не смог оторваться от этих глаз – все стоял и стоял, все смотрел и смотрел, пока не начало его колотить крупной дрожью, горячечной, как безумного. Он перекрестился еще раз, не отрывая своих глаз от ее, и тут ему показалось, что глаза дрогнули, что нежные, земляничные губы шевельнулись. «Матушка, Царица Небесная!..» – бормотнул он: она и в самом деле глядела на него. Он шагнул шаг в сторону, отступил в тень, в иной угол, в дальнюю нишу – и там она нашла его глазами без края, без дна. Слезы и смех кипели во тьме огромных, как два моря, очей. Она притягивала его. Она говорила глазами: подойди. Он подошел. Ноги были как ватные, не держали его. Он весь взмок под тулупом. Поднес еще раз троеперстье ко лбу.

Склонился. Припал губами к серебру оклада, к скани. Острый рубин вонзился ему в губу. Он поднял голову – по подбородку стекала струйка черной крови. «Ишь, растрескались-то губенки на морозище, – прошамкала рядом с ним молельщица, старуха, – инда приложиться к Чудотворной невозможно». «Она Чудотворная?! – обернулся он к старухе живее небесной вспышки, – ее можно попросить о чуде?!» – Как же нет, – зашамкала, зажевала, закивала старуха, – как же нет. Проси, милоч дорогой, и все тебе дадено будет». Он упал на колени. Поднял к Ней лицо. Он бормотал, губы его сами вздрагивали, выплевывая в горько-сладкий воздух посадской церкви все, все – до конца. Без остатка. Он не сознавал. Сознание ушло. Оно не нужно стало. Она и так слышала его – вне сознания, вне слов и дел; вне даже его дыхания, в холодной церкви с шумом излетавшего из уст и зависавшего белым облачком около его искаженного предчувствием и просьбой о Великом, жалкого, сморщенного, смертного лица. Он говорил с Бессмертной о любви. Он любил ее и признавался ей в любви. Он любил ее тогда, в темном и смрадном, грязном, заплеванном и засморканном воском, опилками, нанесенными на сапогах и катанках, озаренном чистыми скорбными, горячими, как детские сердечки и щеки, маленькими свечками, многострадальном, затерянном в северных лесах храме так, как никогда еще никто не любил на свете никого.

Он лишь сейчас понял, вспомнил это.

Никто?! Как ты можешь рядиться за кого-то?! Бог за тебя ответчик или ты сам?!

Она клонилась над ним все ниже. Она горела над ним закатом. Какие чистые, льющияся линии тела. Тело, все родное. У Богородицы под тканями хитона – тоже?! Не святотатствуй, моряк. Ты чудом выжил. Ты чудом встретил свою женщину. Вот это – его женщина?! Это не женщина. Это...

Ее губы мерцали тепло и душисто у самого его рта.

– Поцелуй меня, счастье мое, – сказала она медленно и тягуче, по-русски, выдохнула, как ребенок выдыхает жар воспаленного, бедного сердца на морозное, затянутое искристой колкой слепотой зимнее стекло.

И он наложил губы на ее губы, как обжигающий сургуч.

И она заплакала.

И слезы ее текли горечью и огнем на его губы, и он слизывал их, не отрываясь от нее, не прерывая, не размыкая поцелуя: все взорвалось в нем так, как в море под днищем корабля взрывается торпеда, и ее пылающее розовым, золотым и малиновым огнем, как печь, как белые березовые дрова в печи, тело внезапно поплыло и вспыхнуло под его жадными незрячими руками, не ощупывающими – благословляющими, не обнимающими и хватающими – молящимися, благодарящими: о, благодарю тебя, Богородица моя! Здесь, на чужбинной чужбине, в сердцевине проклятья! Я нюхал смерть, но я не знал любви. Я бы так и умер. Ну что, вернулся бы на родину, посватался бы к бабе, нарожал бы с нею детишек; ну что, помер бы тут, в Осаке или этой пропахшей водорослями и опиумом Иокогаме, под забором, в кабаке, на пороге борделя, а то и в тюрьме, и последним моим словом был бы – вой, волчий вой, бьющийся о сырые стены. Но я не Белый Волк. Я черный, серый, бурый русский волчара. С сединой. Знающий, что почем. И почем эта женщина здесь, в Иокогаме, мне тоже сказали. И я плевать хотел на ее цену. Она меня узнала, бесценная. Она меня узнала сама.

И это я узнал ее тоже.

Мы оба узнали друг друга – где твой крик узнавания! Почему ты молчишь! Не кричишь – почему!

Я молча целовала его. Я была совсем обнажена, и река лениво и медленно билась в берега. Большая ночная река, великая и черно-синяя, как спина важной страшной рыбы, и не было той рыбе имени, и было ей имя: Левиафан. А может, Ихтис. А я хотела встать на нее босыми ногами и так постоять у нее на спине.

Он иногда отрывался от меня и восторженно, светло глядел на меня. Костер уже загас, угли тлели розово-карминно, алые молнии, багряные змеи тихо шевелились в кострище. Мы поставили сеть на стерлядь, смеялись: никакая стерлядь в сеть не зайдет, рыба хочет жить, рыба очень умна. Он тоже был весь обнажен. Мы были древние люди; мы были две большие рыбы.

Мы встали и, взявшись за исцелованные руки, пошли, как дети, к реке, чтобы искупаться в ней, омыться. Рухнули во тьму, в ласковое теплое черное молоко длинной, как жизнь, реки. Мы жили в ней; мы умрем в ней, в реке, и мы никогда не увидим чужих южных морей, никогда не попробуем на зуб чужую смерть. Мы всегда жили здесь. Нам не надо иного. Как прекрасно плыть во тьме, а тело твое белеет и сияет, переворачивается под водой, играет, серебрится, вспыхивает! Бог сам поймает тебя в сеть Свою. И ты не вырвешься уже. Хочет – жарит, а хочет – подкинет высоко, к Луне, к звездам: плыви на свободе, а Я полюбуюсь, как плывешь ты, Рыбья Царица.

Он взял меня в воде за руку. Притянул к себе.

– Какая нежность исходит от тебя, милая, – шепнул он, выдохнул в воду ветер изо рта. – Какая ты светлая. Вечная ты. Ты никогда не состаришься. Ты будешь у меня всегда такая красивая... молодая. Белая, как серебряная рыба. Гляди, как красиво в реке! Я хочу переплыть с тобой на тот берег.

– Я боюсь, – шепнула я ему, – берег далеко, а вдруг пароход пойдет, мне голову снесет... Утянет под колесо...

– Нас и так утянет под колесо: гляди! Вон оно, Звездное! Ложись на воду на спину... раскинь руки... гляди вверх... гляди...

Мы легли на воду, набрали в грудь воздуха, раскинули руки, качались на воде поплавами. Звезды ходили над нами ходуном, вспыхивали разноцветными пчелами, лучились, вздрагивали, плыли, сумасшествовали. И мы были двое сумасшедших, созерцающих Мир однажды в жизни в тяжелой, как черное масло, ночной великой реке.

– Звездное Колесо?!

– И Звездные Розвальни... И Звездный Кол, а к нему привязаны Звездные Кони... И вон Звездная Корова идет, и вымя набрякло у нее звездами... А вон – ты... Звездная Ты...

Он перевернулся в воде, всплеснул, шлепнул рукой, брызги ударили мне в лицо черным вином.

– Что ты городишь!..

Он схватил меня в воде в объятия. Он был весь гладкий, скользкий, текучий, как рыба, как дикий водяной зверь, как золотое мокрое божество, – скользящий и молящийся и смеющийся, как сама жизнь, нами не прожитая, текущая мимо и выше нас, там, под звездами, за звездами, высоко, испугительно.

– Ты потопишь меня!.. пусти... тут же глубоко...

– Рыба моя, рыба, поймал я тебя...

– Мне кажется – наше счастье непрочное... оно умрет... утечет, как река...

Он коснулся мокрыми губами моего виска, нашел в воде мои губы, его язык всплыл в мои уста и заиграл, заплясал, забился неостановимо.

– Откуда ты знаешь... откуда...

Я перевернулась в воде на живот и стала грести к берегу, далеко выбрасывая вперед руки, запрокидывая голову, задыхаясь; он не отставал, он настигал меня.

– Мне снятся сны... про нашу другую жизнь... как будто мы с тобой...

Говорить было напрасно. Я нырнула, ушла с головою под воду. Какая бездна! А если утонуть? Ничего не видеть... не чувствовать больше... никогда... Стать навеки рыбой, тьмой, отраженьем звезды в агатовой, теплой, тягучей глубине, бликом Лунного кадила на маслянистой и слезной волне.

.....тяжелый стон, и не стон вовсе, а вопль о пощаде, а вздох после стона – благословенный, и вскрик, и еще короткий крик – будто птица крикнула в небе, испугавшись огромности неба, его синевы и бездны.

– Василий!.. зачем...

Господи, ведь это он вонзился в меня, проник в меня и стал мною. Настоящею мною; но ведь мужу нельзя стать женой, а жене – мужем; их Бог создал розно; для чего? Для наслажденья друг другом?! Тогда что же такое сейчас с нами?!

– Никогда... никогда... Я всю жизнь ждал...

Так вот как это жестоко. Захлест. Вокруг шеи – петля. Так с корабля бросаются вплавь, ежели тонет он. Торпедировали метко; и капитан командует: Шлюпки на воду!” – а сам остается на корабле, глядеть, как горит и тонет он. Твои руки обхватили меня слишком сильно. Твои жилы и сухожилия вплелись в мои мышцы, перевили мои кости повиликой. Твои ребра разрезали мою плоть и подожгли. Я – сухая яматская бумага. Рисовая бумага, на которой рисуют тонкой колонковой кисточкой, макая ее в тушь. В красную тушь. В кровавую тушь. В кровь.

Движенье. Движенье. Еще движенье – навстречу мне. Ты движешься во мне. Самое чистое, самое намоленное движенье, отмаливающее за меня, молчащую – у неба, тоже намертво – в рот воды набрало – молчащего – все мои молчаливые грехи. Да, уж нагрешила. Кто я, Василий?! Где грехи мои?!

– К тебе... к тебе... в тебя... в тебя... дальше... глубже... небо мое... земля моя...

– Я тону в тебе! Я не выдержу жизни! Дай мне умереть! Дай мне! Дай...

Сотрясение. Так ветер трясет одинокий дуб в полях, бедную, под снегом, молчащую на косогоре сосну. Художник, изобрази меня сосной под снегом, а надо мною нарисуй Луну. Круглолицую Луну, восточную бабу, китайку, филиппинку. Круглую, как мой живот. Живот мой – совместилище твое. Для тебя. Это сосуд лишь для тебя. Клянусь тебе, что ни один мужлан... ни один саблезубый тигр... ни пьяный рот, ни жадный затупелый меч живой... кровь отторгнет!.. ноги изловчатся, извернутся, выбросятся в нападение, ударят, убьют... ненавижу... ненавижу всех, кто – не ты... кто – до тебя... кто – кроме тебя... и сейчас... и прежде... и всегда...

Движенье. Движенье. Еще одно. Еще порыв. Горячая лава, текущая по ребрам, высвечивает изнутри все преступные пещеры. Ты покрываешь мое лицо поцелуями, продолжая вонзаться в меня. Поцелуй – бросок копья. Еще поцелуй – еще бросок. Может, я уже нарисована на постели, а ты, охотник, кидаешь в меня священное копьё, молишься, чтоб охота удачна была?! Пляшешь вокруг меня, и еще удар, и еще копьё летит и свистит, а нарисованный бок содрогается, истекающий ритуальной кровью, и я кричу по-зверьи, молю о пощаде, а ты не слышишь, не слышишь, ты продолжаешь танцевать, пронзая мою нежную кожу, мой дикий живот, белую ласковую шерсть у меня под сосками, в паху, черную шерсть – меж раздвинутых, послушных заклинанью и кличу дрожащих ног!

Мы уже не на постели. Мы уже на полу. Ты скинул меня на пол, не выйдя из меня. Мы приварились друг к другу изнутри обжигающей лавой. Мы сплелись сердцами. Мы стали сплошным горячим, вырванным отовсюду сердцем: оно бьется везде, ты слышишь, лови его губами, хватай, бьющееся, в ладони, покрывай поцелуями, вонзай в него копьё. Лучше умереть, пронзенной копьём, чем жить и тлеть, хрюкая над тарелкой с колючими крабьими ногами, а их, проклятые лапки, так трудно чистить. К черту это сладкое океанское мясо. Здесь все чужое. Как накурено в этом закутке. Табачный дым разъест нам глаза. Выжжет нагие потные тела. Тебе жарко?! Я твой ветер. Я остужаю тебя и поджигаю тебя. И я твой хворост тоже. И мы навек, навек огонь друг для друга.

– Ты бы смогла сгореть за меня на костре?!.. я бы – смог – за тебя... и за себя тоже... ты горишь?!.. скажи мне...

Твои губы – на моем горле. Словно бы ты дикий зверь и хочешь глотку мне перекусить, а на деле – о, какая тонкая, слезная струйка парного молока, какое перышко, травка с сеновала, ласка лисья и горностаевая: благословляю... умоляю. Да! Ты меня умолил. И я раскрылась тебе! Белый лотос... черный лотос... Я твой белый осетр; а ты мой Белый Волк, весь заснеженный, из полей, с косогоров, с откосов заметеленных там, в Парфентьевом Посаде. Мы вернемся?! Мы покатаемся на лошади, в санях?!.. Я твоя лошадь; катайся. Я конь твой белый, конь чалый и игрневый; я конь вороной, и ты счастлива подо мной, и мои руки лучше розвальней, а живот мой – удобней кошевки: ласково ли тебе лежать на мне, сидеть на мне, вжиматься в меня, лететь на мне вдаль, в ширь, в задыханье, в ужас и снег и страсть и смерть, моя милая?! В жизнь ты летишь со мной! А я думала – в гибель... А если и в гибель?! В плен вечный. Движенье. Движенье. Движенье навстречу. Никакого смиренья. Только радостный крик. Только счастье выходит толчками, как лава из недр земли. Это вызов. Ты бросаешь вызов смерти. Она уже бросила свои сети тебе. А ты посмеялся. Ты их порвал. Ты вышел наружу, хвостом вильнул. И я твоя рыба. Я плыву в тебе. Где наш берег?! Где?!

Он запорошил шею. Выгнулся дугой. Лопатки его сошлись вместе. Судорога радугой свела кости и хрящи.

Она обхватила его так крепко, как могла, и он чуть не задохнулся – так сильно, как мужчина, схватила его она, и он крикнул от боли и неожиданности, от неистовой силы ее объятия: так земля хватает еще недавно живущего – и не отпускает. Ее лицо запрокинулось, зубы светло и больно обнажились, просверкнули, засияли длинной восторженной улыбкой, звездной тонкой полоской, и все ее лицо стало – небо, и все ее пылающее, розовое, мокрое, как от ливня, соленое тело стало – небо, и лоб, небесный, высокий, униженный алмазами испарины, засиял золотом, и он схватил пальцами ее сосок и сжал, и она охнула и крикнула – весело и громко, со всею силой радости и сладости – чувствовать его руку, властно-ласковые клещи грубых пальцев на своей покорной, мягко светящейся груди, – и он крикнул что-то веселое и отчаянное в ответ ей, вместе с ней, и не понять было, что, – не слова извергали они, а сильные и небесные звуки, смех и музыку, и долгие стоны, бесконечные, как пустынная музыка арфы, как перебор в ночи тяжелых бычьих струн на треугольной рамке царского забытого инструмента; и побоку были и Ямато, и Россия, и Зимняя Война, и замиренья, и взрывы, и смерти, и бордели, и ужасы, и кальян, и шарики опия, и грязные ругательства грузчиков, матросов, бандерш и злых усталых гейш, – они были вместе, они пели и звучали вместе, они кричали и бились, как две ладони бьются в восторге друг об дружку, вместе, – так они любили друг друга, так они хотели и желали друг друга, и, не успели успокоиться их руки и ноги, их животы и чресла, их разгоряченные до выющегося дыма уста и щеки, как они опять вспыхнули, возжелав друг друга с еще большей неистовостью, еще жаднее, еще ненасытней и неутолимей, – и так рванулись они друг к другу опять, и так испугались своего порыва, и развеселились: как это так, опять, снова, и вместе, и не сдержат великой жажды! – будто в пустыне безводной, хотели они друг друга, как хотят глотка воды.

И она припали губами друг к другу, и снова вошли друг в друга, и источили воду из скалы, и выпили друг друга, попеременно становясь то камнем, то жезлом, о камень ударяющим, то мощной ледяной живоносной струей, бьющей наотмашь из мертво блестящего под Солнцем гранита.

И просияло Солнце, и закатилось за край Земли Иаббон, и взошла круглая смеющаяся Луна, и так же жестоко, жестко блеснул камень, срез горы в призрачном свете Луны. И в свете Луны они любили друг друга – все тише и тише, все нежнее и нежнее, все безвыходней и безысходней.

Маюми стучалась в двери каморы. Нора стучалась. Жамсаран приходила, приползала на карачках, слегка запянев от кальяна и плохого испанского вина, стучалась, царапалась, скреблась. Женщины хотели узнать, что происходит за дверьми. Они ничего не понимали. Они

слышали нечто: невнятицу, разноголосицу, пенопенье, угарную, хмельную музыку, – играли на древних наблах и тимпанах, брямкали, нестройно и журчаще перебирали льдинки, жемчужинки: арпеджио, глиссандо, трели. Птичьи трели. Да, должно быть, там, в комнате Лесико, пели птицы. Откуда их напустили? Зачем их там так много?! Как чарующе они поют... верно, синички, снегири...

Птиц продавали бродячие торговцы. Кроме того, они могли прилететь из России. С Севера. Бедная Лесико. Она так скучает по северному снегу. Она всегда, когда идет снегопад, подпирает подбородок рукой, тоскливо глядит в окно и шепчет: нет, там снег другой, другой. Там он пушистый, могучий. Он укутывает тебя, как в шубу, укрывает всю. Всю тебя, голую и беззащитную.

«Лесико!.. Открой, открой!.. Эй!.. мы принесли тебе рису и конопля, птиц покормить...»
Молчанье. Нежные вздохи. Далекое пенье. Музыка. Иногда вскрики.

Вскрики, похожие на окликанья: эй!.. Ты заблудился в волнах, родной пловец!.. правь шлюпку сюда... на восход... на сосну на горе, что укрыта песцовой шубой мохнатого, родного снега...

Греби, пловец. Впереди – мина. Позади – торпеда.

Побег

В дверь ее каморки забарабанили так рьяно и неистово, каблуком ли, палкой, – оглушительно, грубо! – что они, вздрогнув, обнявшись еще крепче, едва не свалились, в испуганном порыве, с кровати.

– Господи, кто там?.. – Он закрыл пламенным ртом, в приливе нежности и веселья, ее бормочущие губы. – Кого дьявол несет... Кто, кто?..

– Лесико!.. Лесико!.. – заорал высокий, на обрыве высоты и напряженья, как натянутая струна, пронзительный голос. – Открывай живо!.. Во имя Амагерасу!.. Беда!..

Она вырвалась из объятий моряка. Прыгнула с кровати. Одним летящим шагом достигла двери.

Ключ загрохотал в замке железной лязгающей канонадой. Надо сказать Акою, пусть отдаст распоряжение сменить замки. Железные скорпионы.

– Жамсаран!.. Что с тобой!

На бурятской девчонке лица не было. Природную золотистую смуглость как корова языком слизала. Скулы заострились – так бывает в scarlatinном, тифозном жару. Виски влажно, холодно поблескивали. Губы тряслись, не в силах выдавить слова.

– Ах, богиня Амагерасу! – Крик вырвался из груди Жамсаран и звонким эхом ударился, разбившись, о зеркала и стены каморы. Живей! Торопитесь! Бегите немедленно! За твоим господином пришли!

Буряточка всех клиентов называла, по-детски, господами”. Василий уже стоял рядом с возлюбленной, обвязавшись вокруг бедер простыней, положив руки на вмиг заолодавшие плечи голой Лесико.

– Кто пришел, что?.. Скажи ясней! Куда бежать! Что случилось!

– Да все просто! – прокричала Жамсаран, и щеки ее побледнели еще пуще. – Там, внизу, у Кудами, военные! Там самураи! Они пришли, чтоб найти живого русского матроса! Кто им донес, не знаю! Кто-то из наших... – Она поежилась, втянула голову в плечи. – Кудами пробовала откупиться, сыпала им монеты в пригоршни, под ноги им швыряла драгоценности – куда там! И видеть не хотят! А она накурилась, видно, дикой травы... или напилась... как стали девок всех подряд хватать, волоочь... руки им ломать... Норе кинжалом живот раскроили... у нее кишки все на полу, на полу лежат, вывалились... а-а-а-а! А-а-а-а!

Жамсаран забила в рыданиях. Лесико прижала ее голову к груди.

– Это правда?! Тебе... сон не приснился?!

– Правда! Что я, врать буду! Кудами завопила: спасайтесь, прячьтесь! А я о тебе вспомнила... Они трясли Кудами, орал: скажи, где русский моряк, твой гость?! Скажи, не то тебе глаза выколем! Кровь из пустых глазниц потечет! Это же камикадзе, смертники! Они смерть нюхают, как хлеб... они ни перед чем не остановятся, для них человечья жизнь – марибаши: не понравилась – выкинул!.. или сломал... Бегите! За мной, скорей! Я знаю черный ход... потайной... его даже Кудами не знает... ну!..

Жамсаран дернула подругу за локоть, за темную вьющуюся прядь, спадающую волной на грудь. Лесико схватила себя за голые плечи. Дрожь сотрясала ее мелко, плясала по коже, как частый дождь.

– Василий! – обернулась. – Дай одежду! Там, за ширмой...

Птички с шелковой ширмы, разевавая вышитые клювики, смеялись, чирикали, растопырявали розовые и лиловые шелковые крылышки. «Так вот кто пел тут всю ночь», – глупо подумалось Жамсаран.

Моряк уже натягивал штаны. Котомка моталась у него за плечами.

Вот он уже готов. Мужчина. Мужик. Собрался и подобрался, почуяв опасность, как зверь. Ему все нипочем. Улыбка пробивается сквозь плотно сжатые губы. Отчего он хочет улыбнуться?! Я умру, если умрет он. Я не хочу никогда его потерять. Как слабы мои колени! Они подгибаются... я не могу идти.

– Что со мной, – изумленно поглядела, подняв голову, грациозно и скорбно повернув к нему свежее, как и не было бессонной ночи, лицо, – что со мною, Василий?!.. у меня отнялись ноги... я...

Перед ее глазами стояло виденье: лежащая на дощатом, в табачных крошках и конфетных обертках, полу борделя Нора, со вспоротым животом, кишки рядом с нею, пульсируют, перламутрово просверкивают, глаза закатились, рот изогнулся в смертной, мученической полуулыбке. Нора, Нора, испанка или итальянка, так никто в борделе этого никогда и не узнал. Какой самурай навертел ее потроха, как на вертел, себе на четырехгранный меч?!

Он подхватил ее на руки. Извечный жест мужика, хватающего, чтоб спасти и унести, девочку, жену, дочь. Он отец, и он ее этою ночью родил, и он унесет своего рожденного ребенка от беды.

– Куда бежать, Жамсаран?! – крикнул он в косоглазое лицо, и девочка на миг оглохла. – Давай! Веди! Не обращай вниманья, я понесу ее! Не видишь, она теряет сознание... Быстрой!

По лестнице уже стучали каблуки. Голоса грубо брякали костяшками согласных. У самураев всегда с собой мечи. Длинные и смертоносные. А есть и короткие, как таежные русские лыжи. Воины хорошо обучены ими драться. А при нем никакого оружия, кроме собственных живых и крепких рук. Да, руки сильны, но железо сильнее. Кроме того, кинжалы. И еще ружья за плечами, винтовки. Одну из девок они уже успели укокошить. Ну уж нет. Свою находку он на растерзанье не отдаст за здорово живешь. А ведь они за ним явились. И что он дался, выплывший из океана смерти – смерти сухопутной, звенящей ножами мечей на пороге его вечного блаженства?!

Жамсаран повернулась и шибко побежала не вниз по лестнице – туда бежать уже было нельзя, они шли, они приближались неотвратимо! – а вверх, и лестница завинчивалась спиралью, деревянной улиткой, и он с Лесико на руках, тяжело дышащей, с глазами, заволокнутыми пеленой ужаса и минутного забвенья, бежал за буряткой, хрипя, задыхаясь, с трудом удерживая на руках любимое тяжелое тело, все сильнее, все грузнее обвисающее, тянущее предплечья книзу, но надо было бежать, и задыхаться, и молиться: скорей. Скорей. Скорей.

Они взбежали на чердак. Слуховое оконце тускло, бельмом, светило под крышей.

– Ну что, – процедил он, отплевываясь и переводя дух, – отсюда можно только прыгать. Давайте сломаем шею. Это лучше, чем быть разрезанным надвое живьем.

– Нет! – крикнула Жамсаран. – Лесико, скажи своему господину, что он дурак! За мной... вперед!

Она наклонилась, нашарила во мраке чердака на полу железное кольцо, рванула. Лаз открылся широкий, черный. Лестница вниз вела крутая. И ни свечи, ни огня у них в руках: если ступени скользкие от морской иокогамской сырости или выбиты временем... крутая, как корабельный трап...

– Спускайся! – с отчаянием прокричала бурятка. – Лезь! Об этом ходе никто не знает! Я только знаю! Я!

Лесико не открывала глаз. Он припал губами к ее лицу.

– Как ты, радость моя?.. мы спасемся, клянусь тебе...

Он, с ней на руках, с натугой сел на закраину лаза, опустил в черную пасть ноги. Нашупал ногою, вслепую, ступеньку. Стал медленно спускаться, закусив губу.

Жамсаран полезла за ним. Он время от времени шептал русские ругательства, она – бурятские молитвы.

Они лезли вниз, не видя ничего – такой кромешный мрак обнимал жадно их.

Через стену, в покинутой ими комнатенке Лесико, уже раздавались крики самураев, стук мечей о стены, злобные кличи.

Жамсаран изловчилась, выбросила руки вверх, уцепилась и плотно, наглухо закрыла над своим затылком откидную крышку лаза, сколоченную из толстых, пополам распиленных сосновых бревен.

Боженька мой, какая же у меня была жизнь в тех, дальних трущобах родного Вавилона. Град-пряник!.. – обломаешь зубы. Я и обломала – один за другим. Как я завидовала хорошеньким, миленьким гимназисточкам, кто мог купить себе сапожки на шнуровке и туго-натуго шнуровать их, и застегивать множество пуговиц на узких, с утянутой талией, шубках, и стряхивать снег с мерлушковых шапочек! Зеркало врало мне, что я хорошенькая. Я-то прекрасно знала: я – уродка. Нечего на меня и глядеть. Черная галка. Худая. А вот с золотыми волосьями, те красивые. Ох, красивые! Загляденье!

Я работала на черных работах. И мылась в банях стиральным мылом. Из нищеты покупала я один кусок мыла, хозяйским ножом разрезала его на четыре части, и у меня четыре мыла оказывалось. Баня – праздник! Я ходила мыться в Волковы бани, что в Волковом переулке. Никогда извозчика не брала: извозчик – дорого. И на конке не ехала, и на авто. На авто мне было страшно. Шофер, может, подслеповатый какой, ткнется мордой авто в столб либо в бордюр, разобьется.

Мне иной раз самой, от горечи и жути, хотелось разбиться. Прыгнуть в холодную узкую реку, разрезавшую Град-пряник, мой родной Вавилон, пополам.

Я жила в муравейниках, многолюдных, грязных. Я ничего не понимала, не видела, не слышала. Я закрывала глаза руками. Уши – ладонями. Втыкала кулак в рот, если хотела кричать. Когда у меня не хватало денег заплатить хозяину, я приглашала его к себе в комнатенку, ложилась на старый диван и задирала юбки. Он, валясь на меня, как спиленное дерево, морщился: у меня не было кружевных панталон, и пахла я не духами «Марго», а черным стиральным мылом. Клянусь, я ничего не чувствовала. Или мне так казалось? Ведь даже дерево чувствует, когда его пилят. И оно кричит. Орет. Безмолвно. Мы, люди, не слышим крика раненого дерева. Мы и криков людей, убиваемых, посекаемых насмерть, и то не слышим.

Как в воздухе носился запах Войны!

И все же я была молода. Пусть чернушка, нищая смуглянка, а молода! И как же я хотела жить и веселиться! И елки в Рождество! И сладостей! И брать пальцами конфеты из блестящих бонбоньерок и заталкивать в рот! И кататься на каруселях! И слушать духовые оркестры в парках! И бегать в синема! И еще много чего хотела я – например, кататься на лодке и рыбачить! Господи, как я любила ловить рыбу, бедную молчаливую рыбу, ведь она так нежно брала губами червя, и она не знала, что там, в черве, глубоко – крючок, что смерть, смерть ее пришла... Раз! – подсежь удилище, вздернуть рыбу, серебряную молнию, на воздух...

Они, те, кто был со мной в Вавилоне, звали меня: Ангел. «Ты Ангел этого города», – смеялся один, худой и рыжий и длинный, как жердь. Иногда – Ангелина. «А ты всегда такая добрая?.. Ко всем?!..» Смех, гогот. Много смеха. Они давали денег. «Как твое настоящее имя?.. Не ври нам, Ангелочек». Я молчала. Заваривала чай. О, я уже там, в Вавилоне, научилась заваривать чай по-восточному – с цитрусовой коркой, с бергамотом. Забыла. Ольга. Олеся. Алена. Вот ей-Богу, не помню. Ты больная?!.. Ты шутница. Ты хитрая бестия. Она ведьма, ребята, и от нее всякого жди. Аленка с дырочкой!

А ты видала Божественного Зверя?!

Я трясла головой. Это вы шутники. Как надоело мне жить в трущобах. Как я мечтала о чуде. Я бежала по улицам Вавилона и забегала в церковь, и там было так мятно и чадно, и золотисто от грустно мигающих огненных глаз, и все эти в слезах и безумном блеске, бездонные глаза – и свечные, и Богородицыны, и Спаса Нерукотворного – глядели в меня строго и пристально, зная про меня то, что я сама про себя никак не знала.

Я была молода тогда, и я так боялась состариться. Я заглядывала в зеркало, впиваясь в себя глазами, и видела, что ничего со мною не может поделать жизнь. От Града-пряника я отгрызала кусочки. Я подряжалась разносить пирожки по улицам, мыть полы в трактирах, подметать мостовые и отскребать с них корки снега и льда. А надо мной весело звонили колокола, весело, переливчато, громко, били мне прямо в уши – о как весело они звонили!

Я была благодарна тому мужику, искрутившему меня в забытой страшной подворотне. «Девушка должна терять девственность с грубым незнакомым мужчиной», – важно сказала мне минутная уличная приятельша, потягивая из стакана спитой холодный чай. Я иной раз привечала девиц, которым нечего было есть, негде спать. Их работа, в отличие от моей поденки, была веселая – они маячили на площадях и бульварах, зацепляли глазами припозднившихся господ, подвыпивших купцов, пьяных мужиков. Они подмигивали мне: «Ты, дура, пошто вкальваешь?.. поди с нами на площадь, не пожалеешь!.. У нас за вечер – сколь у тебя за месяцок...» – и откусывали кус от длинной шоколадки Миньон”.

Я была не дура. Я была умная и печальная.

Я знала все про всех.

И я любила облака – летящие по ветру, обнимающие светлую Луну в темно-синем грозном небе. Облака говорили мне о моем ветре, что сметет меня, сомнет, унесет: далеко, так далеко, что пешком оттуда сюда мне никогда уже не дойти.

– Ах, господин! Бегите сильнее! Бегите!

Вопль Жамсаран прорезал синий ночной воздух. Василий притиснул к себе Лесико, нагнулся, пряча голову от засвистевших пуль, и побежал, побежал, уткнув свое лицо в ее лицо, вслепую, не разбирая дороги.

Она услышала – сзади, за спиной, жалобный тонкий крик. И смолкло все.

Жамсаран. Они выстрелили в тебя и попали.

– Василий!.. – Она не узнала своего голоса – хрип и сип вырвался ожившим вулканом из недр груди. – Налево, сюда, тут дворы, рядом овраг, улочка обрывается вниз, к порту...

Он послушался ее, рванул влево. Разодрал грудью колючие заросли держидерева. Снег таял и плыл под ногами. Предрассветное небо играло всеми мощными холодными огнями. Вон Сириус. Сириус, сине-розовый, хрустальный шар, глаз Небесного, Божественного Зверя. Как она хотела такое кольцо в подарок, на палец. Драгоценности клиенты подносили лишь Кудами-сан. Девчонки получали за свою работу от Вэй Чжи лишнюю порцию риса, сдобренного ореховой подливкой.

– Ты видишь ли дорогу?!..

Путающиеся слова, сбивающееся дыхание.

– Хочешь, я подарю тебе Сириус?.. гляди, гляди, какой он, играет, горит...

Она крепче, больней обняла его за плечи, вжала голову в горячие стелы его груди.

– Хочу... беги быстрее!.. они стреляют... они увидели нас!..

Разорвать заросли тамариска, лимонника, шиповника, густо переплетенные ветви сливы, сакуры, о, как же кроваво горят царапины на едва завернутом в несколько шелков нежном теле. Вперед, скорей. Он спасет ее. Они не достанутся самураям. Скользкая, обледенелая тропинка рушилась вниз почти отвесно, как струя дождя. Он, с нею на руках, поплыл, заскользил по тропе, спотыкаясь, приседая, ахая, срываясь в невидимую ночную пропасть. Жамсаран убили, это ясно. Выстрелы грохали уже поодаль. Она впечатала свои губы в его шею. Быстрее, милый, быстрее! Порт – это спасенье! Там корабли. Там лодки, джонки. Там катера, рыбацкие плоты. Они прыгнут в любую лодку, он отрежет веревку, поднимет якорь. Он же моряк, Господи, он же моряк и гребец, они уплывут, они должны спастись!

Небо наливалось розовой кровью. Море внезапно выхватило из тьмы длинной серебряной лентой прибоя, раскинулось перед ними ослеплением – утро чуть трогало обширные прогалы колышущейся воды золотой, карминной кистью, волны просвечивали в свете последних гаснущих звезд лиловыми огоньками полной живых огненных существ бездны. Василий подбежал к скоплению лодчонок и джонок, привязанных веревками и цепями к деревянным береговым кольям, озирался судорожно и затравленно, выхватывая, цепляя глазами удобную лодку, поплоче, победней – чтоб хозяин по утрате не так сокрушался. Выбрал. Бока потерты. На дне – продранная рисовая циновка. Жидкость в оплетенной лозой бутылки на корме: вино? Вода? Уксус? Масло? Он прыгнул в лодчонку, опустил Лесико на настил. Ее руки вцепились в скользкий, покрытый водорослевым бархатом борт.

Он глядел ей в раздумывавшееся, испуганное, чуть раскосое лицо и думал, что вот, он встретил прекрасную любовь свою на земле, и они в опасности, и в чужой тайной стране, и их обязательно настигнут, схватят и казнят.

– Тише, – сказал он и прижал палец к губам, хотя она совсем не собиралась кричать, – тише, судьба моя, я сейчас развяжу цепь...

Он возился с железными узлами недолго. Через миг лодочка закачалась на волнах. Дул южный ветер. Море выгрывало, смеялось белыми зубами крохотных ветреных гребней.

– Ветер южный, значит, плывем на Север, – хрипло выдохнул он, усаживаясь на лавку и беря в руки тяжело заскрипевшие широкие весла. – На Север, голубка моя! Это значит...

– Домой!

Ее крик оборвался. Расширившимися глазами она смотрела на склон горы. Люди в странных военных нарядах, как жучки, черные и красные букашки, сползали вниз, взводя курки стреляльных машин, неся на головах удивительные страшные короны с длинными зловещими зубцами. Мечи мотались у них на расшитых золотом поясах, били их больно по бедрам.

– Они!

– Кто, радость моя?..

– Самураи!

Он ударил веслами по воде. Лодка набирала ход. Берег удалялся. Люди в коронах со злыми зубцами увидели их. Оружие вздернулось к их подбородкам. Пули свистели вокруг пронзительно и отвратительно, прошивали насквозь рассвет, плашмя ударялись о воду и тонули бесследно.

Лесико согнулась пополам, пригнула голову к коленям. Василий, закусив губу, работал веслами изо всех сил. Воины стреляли упорно и злобно, у них была одна цель – попасть, остановить. Убить.

Она держала голову близ коленей и думала только об одном: если попадут в него, она не переживет. Пусть лучше попадут в нее. Так проще. Так счастливей.

– А! О-о-о-о...

Молитва исполнилась. Пуля прошила ей руку. Застряла в мышце. Невероятные боли пронизало ее, заставило забиться, упасть на дно лодчонки, уткнуться носом в вонючую гнилую влагу – в лодке, видно, зияла заштопанная старая пробоина, днище протекало. Василий не останавливался, греб и греб – он выгадывал мигновенья, он знал, что сейчас не место жалости, причитаньям, перевязке. Он сразу понял: рана неопасна. А боль? Ну что ж, боль. Боль – это лишь воспоминанье о боли. Так устроено живое, чтоб чутя время от времени сильную боль.

– Лесико... терпи, Лесико...

Она взяла в зубы край шелковой тряпки, коей была обмотана, и терпела, терпела – до той поры, пока перед глазами не потемнело, не развернулось в кромешном мраке сине-золотое, лентием, мафорием, широкое колышущееся сиянье – в полнеба.

Очнулась она от того, что острое лезвие нежно и неотвратно входило в ее плоть, вонзалось и двигалось в ней.

Стон разорвал морскую зимнюю полдневную тишину. Лодка чуть качалась на утишенных ярким Солнцем пологих волнах. Василий, склонясь над ней, сведя брови к переносью, покрывшись весь горошинами страдального ледяного пота, при помощи матросского ножа вытаскивал у нее из окровавленной руки застрявшую пулю. Боль схватила ее такая – ни в сказке сказать. Она выгнулась, оперевшись затылком и пятками в доски днища, как в столбнячной судороге, и хрипло заорала.

– Тише!.. Лесико, – бормотнул Василий, разрезая кровоточащую мышцу дальше, неумело. – Если б ты знала, каково мне это... вот это все... тебя резать, а после ведь и зашивать чем-то надо будет... а иголки нет, представь...

Она подвывала, вертела головой. Ее темные волосы развилась, шпильки выскользнули из пучка, пряди вымокли в грязной невычерпанной воде. Солнце било ей прямо в лицо, в глаза. Она жмурилась.

– Лучше мне умереть, Василий... лучше мне умереть!..

– Не бойся, птичка, я тебе сейчас крылышко пришью...

Губы его шутили коряво и наивно – натужно, нарочно, против воли. С лица его капал холодный пот ей на лицо, на рану. Она корчилась от соли его слез, омывающих грубую щель в ее плоти.

– Лучше бы ты взял мой нож... маленький, острый... у меня в волосах воткнул был... я его никогда не вынимала, он для защиты был спрятан... в прическе... поищи...

– Родная, он, должно быть, выпал. У тебя уж и прически-то нет, – прохрипел он, нащупывая острием матросского ножа медь пули. – Все разрушилось, растрепалось. И нож свой ты, верно, потеряла. Ах ты моя терпеливая!.. Вот, нашел. Потерпи еще немного... еще...

Он крякнул, подцепил лезвием катышек пули, выпростал из кровавого месива раны, разорванных живых волокон. Она охнула, приподняв голову, поглядела на медный белемнит, что он осторожно, как диковинного ядовитого жука, держал в дрожащих окровавленных пальцах.

– Вот! Гляди! Твоя первая пуля...

– Даст Бог, не последняя, – криво улыбнувшись, захотела пошутить она – и не смогла: белки ее закатились и сверкнули синим, из закушенного рта вырвался короткий вопль, угасший в задыханье бессознания. Он засунул вытасченную из раны пулю в карман штанов, обтер о штанину, кровавая грязную ткань, нож, в страхе затряс ее за плечи. Черпнул за бортом в горсть воды, брызнул ей в лицо.

– Лесико, Лесико... жизнь моя!..

Припал губами к ее рту. И вдыхал, вдыхал, вдыхал в нее долгим поцелуем долгую жизнь – пока она не очнулась, не зашевелилась и не вздохнула прерывисто и тяжело под ним, под его молящими, возжигающими ее губами – так сумасшедшая забытая лучина в Новгороде поджигает хорошо вытопленную избу.

– Зашей мне рану!..

– Сей момент, царица моя...

Он огляделся. Далеко на берегу маячили, сбившись в беспомощную кучку, яматские воины, похожие на древесных черно-красных жучков-солдатиков. Игла, чтоб зашить рану. Где?! Откуда...

– Морской еж, – ее голос прошелестел подобно ветру, – попробуй, поймай морского ежа... И леска, в рыбацкой джонке должна быть леска... пошарь, найди...

Она опять потеряла сознание. Он, осененный догадкой, засунул руку под деревянную лавку, вытянул в кулаке ком спутанной толстой лески. Еж! Где еж?! Тысяча живых тварей обитает в морях дивной Ямато. Он не рыбак, а матрос. Может, тут запрятана и сеть?! Ах, лавка,

волшебная лавка, хитрая джонка. Вот она и сеть – о, порванная во многих местах, ничего, ведь ему нужно не всю, а лишь малый кусок.

Он оторвал клочок от рядна, сплел нечто вроде сачка. Привязал к голому удилищу, валявшемуся на дне лодчонки. Закинул в море. Он древний рыбак. Он сейчас поймает себе и жене на ужин... тунца? Омара? А может, ядовитую ведьму фугу?

Жене... Разве она – ему – жена...

Он произнес про себя: жена, жена” – еще и еще раз, до тех пор, пока само звучанье слова не стало казаться ему просто воздухом, порывом ветра, бессмысленным и родным, как неслышный ток крови по жилам, отдающийся в ушах, в сердце, в запястьях.

Он рванул сачок вверх. Морские твари бились, серебрились и прыгали в нем. О, цветные, красивые рыбки! Он не знает ваших яматских названий. Саседо-кэ, итураси, коту-нэ, ива-си... Рыбаки знают все. Они знают великий час лова. О Лесико, мы с тобою когда-то были рыбами в море... в широкой черной и прозрачной реке. Клянусь. Я помню это – кожей... чешуей...

Наряду с рыбками, ярко-красными, серебряными, изумрудными и круглыми, в сачке виднелся черный колючий шар. Иглы торчали во все стороны. Василий не знал, можно ли брать его голыми пальцами; обернул руку краем рубахи, подцепил, извлек.

Лесико открыла залитые болью глаза и снизу вверх глядела на него, на ежа, на белое Солнце в зените.

Ее лицо покрывалось на ветру быстрым, мгновенным загаром, розово и смугло блестели скулы, масляные капли выступали на висках, на ноздрях.

– Молодец! – кинула она ему. – И моряки умеют ловить ежей!

– Кому ж, как не морякам, их и ловить, – горделиво промолвил он, выдирая из ежа самую длинную колючку и с размаху забрасывая его, бедолагу, снова в пучину, – моряки – на все руки ловки...

Зубами прокусил он прорезь в пахнувшей йодом игле. Вдел туда обрывок лески.

– Ну, Лесико-сан, закрывай глаза!.. зажмуривайся изо всех сил, молитву читай...

Он, сам молясь про себя, внутри, простыми и страстными, полубезумными словами: не дай, сохрани, убереги, прочь, прочь, стремительней, вон отсюда, боль, вон от моей любимой, – воткнул иглу в сведенные края раны и стал шить.

– Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и да бегут от лица Его ненавидящие Его... Яко исчезает дым, да исчезнут...

– Ах, девочка моя, да ты ж так терпеть все умеешь... ну еще немного... ну еще... ну вот и все...

Шов вышел грубый, жуткий. О, какой же неистовый будет шрам. Белой извилистой застывшей молнией прорежет кожу, чуть выше локтя, на видном месте, ежели носить открытые, летом, платья. Где будут они с нею год спустя... век спустя?!..

– Все, – выдохнула она счастливо и легко. – Уф!.. легче родить...

– А ты... – у него враз пересохло в горле, – рожала?..

Тишина настала над морем, разлилась, потекла по их бьющимся под кожей жилам. Он напряженно ждал ответа. Она медлила – было ли ей что отвечать?

Солнце рьяно метало белые, золотые самурайские копыя вниз, вбок, отвесно, вверх, заполняя победительной музыкой небесного воинства покорную, склонившуюся в благоговеньи Вселенную. Море задумчиво колыхало в прозрачных зеленых объятьях маленькую джонку, и Лесико повернула голову, поглядела на оплетенную лозой бутыль.

– Там точно вино, я чую запах, – сказала она нежно и очень тихо. Василий едва услышал ее. – Возьми бутыль. Дай сюда. Дай мне глотнуть. Я так ослабела от боли.

Он послушно поднес бутыль горлышком к ее растрескавшемуся рту.

Она глотала прерывисто, как всхлипывала, пила долго и жадно – он испугался, не чересчур ли, не запьянеет ли она; и что то было за вино? Может, водка, настоенная на против-

ном змеином яде, услада узкоглазых коротконогих рыбаков, чьи скулы и затылки блестели в мазках липкой чешуи?

– Отличное вино, – шепнула она, отрываясь от бутылки, – хорошее вино. Старое. Выдержанное. Я знаю в винах толк. Да, я рожала, Василий. Но я не помню, как это было. И где. И я не знаю, где мой ребенок.

– Как это может быть?..

Голос его пресекся. Он положил руку на ее кровоточащую, зашитую, еще не перевязанную рану. Струп подсыхал на палящем Солнце. Их лица обдувал холодный бриз.

– Война, – сказала она шепотом, сходящим на нет. И крикнула вдруг задуманно:

– Они вынули его из меня!.. Они... украли его, унесли! Они могли его убить, но я знаю, он жив! Какой огонь стоял вокруг меня... столбом... огромные столбы огня... И я, среди ужаса и огня, я могла тогда сгореть... вместе с ним... хорошо, если они его завернули в плащи, увезли, спасли... Я не знаю... я...

Длинные слезы текли и текли по ее вискам, стекали в вонючую воду на дне лодочки. Василий поднял руку и коснулся ее щеки.

– Я так люблю тебя, – глухо, низко вымолвил. – Не плачь. Я хочу ребенка от тебя. Ты родишь мне ребенка. Слышишь?! Родишь. Ты молодая. Я молодой.

– Нет... никогда. Они все сделали так, что больше никогда!.. ведь я с кем только ни была там, в доме собаки Кудами... и ни одного разу... ни разу... а они все были со мной... со мной...

Она отвернула голову и затряслась в неудержимых, всесокрушающих рыданиях.

Он не успокаивал ее, сидел рядом, каменно, безмолвно.

Лодка качалась на волнах туда-сюда, туда-сюда, и бирюзовая вода горела и вспыхивала изнутри тысячью розовых и золотых, победных искр.

Мне надо натянуть на ноги валенки. Нет, сначала толстые шерстяные носки, потом валенки. И я пойду Тебя встречать.

Наша земля гиблая. Наши люди больные. Я стыжусь своего здоровья. Когда я задумываюсь над тем, сколько людей тонут теперь во лжи и ненависти – волосы встают дыбом. Да нечему дыбиться; коротка моя солдатская стрижка. Я солдат, я солдат этого Мукдена, этого Халхин-Гола. Я навидался по горло взрывов и разрывов.

И по причине беззаконья в людях оскудеет любовь.

Зачем я так люблю Тебя? Мне надо меньше любить Тебя – я могу сойти с ума. Это я-то, чья голова крепка, как медный котел. Я, переделавший своею головою немало всяких больших и огромных и малых дел; помогавший ею Богу и другим людям моего живого мира. Ты живешь во мне, внутри меня; Ты бродишь по мне, в моих лесах и чащобах, в пространствах моих степей, тонешь в моих морях, и я люблю Тебя, и я не спасу Тебя от себя, от палящего Солнца своего, от гибели в себе, если Ты вдруг упадешь с высокой скалы. Но когда Ты будешь падать и разбиваться, я подхватчу Тебя, и мы полетим вместе и разобьемся вместе. Я обещаю Тебе это.

Какой холод. Жестокая зима. Это не зимка-липка, с пушистым хвостом. Снег бьет по глазам алмазными ножами. Рябина жжет засохшей кровью на ветвях, на белых грудях косоголов. Это зиму ранили в грудь, прострелили навывлет. И снегири клюют алые сгустки. Им сладко. Им сыто. Клюйте лучше мою печень, снегири. Клюйте мое сердце. Она не приедет и сегодня.

Я все равно пойду.

Нет, лучше не валенки надену, а бурки, встану на лыжи и пойду на лыжах. Как мы ходили на лыжах с Тобой! Далеко, за Морозовские леса, к ручью. Ручей ледяной. На рогатке кружка над водою висит. Я говорю Тебе: не пей больше двух глотков. А Ты черпнула кружкой из ручья да и пьешь, пьешь не отрываясь.

И небо синее, перстень бирюзовый. И осины и сосны в белых шубках, боярышни.

А бедный люд сейчас не ходит в белых шубках.

И матери тех, на Зимней Войне погибших, уж давно не ходят. Они ходят в рогожах. И мокрые соленые лица утирают рогожами. И проклинают тех ткачей, кто те рогожи ткет, ухмыляясь.

Зимняя Война плохо началась, глупо. Взорвали самый красивый броненосец с самым гордым и умным адмиралом и всею командой. Такого корабля и такого адмирала у нас больше не будет. Мы проиграли Тюрнченский бой. Враг высадился в Бицзыво, и это предвестило гибель Царского Порта. Я был там, в Царском Порту, я видел горный хребет Тигровый Хвост. Снежной зимой, такой, как эта, нынешняя, я охотился на тигра. У него на лбу кистью, обмокнутой в черную тушь, начертан иероглиф: «ГОСПОДИН». Тигр – господин надо мной?! Никогда. Зверь – царь над зверями. Человек – подобье Бога. Так ли это, ответь мне?!

Так ли это, ведь когда он наскакивал на меня, рычал и хрипел, а я прижимал его гигантской рогатиной, глядел в его рыжие, золотые безумные глаза, я понял внезапно и слезно, что и не я – царь, и не он – царь, и не пуля в ружье – царица, а на ладони нас держит единственный Царь над нами всеми, и не вольны мы в судьбе своей?!

Я помню глухие корабельные шумы. Перезвон склянок. Я помню, как разгоралось страшное утро. Над морем загремел гром. Взорванный корабль уходит под воду быстро – за две, три минуты. Пламя рвалось сквозь дым и пар. Холодное море. Холодные мысли о смерти. Крики рвали людям рты. Вот и я подумал тогда: зачем я живу?

Я остался жить, чтобы встретить Тебя. Ты Солнце мое.

Ты зимнее, февральское, чистое и холодное Солнце мое. Ты такая горячая, что даже страшно. Ты горячее взрыва, опаснее смерти. Когда я обнимал и целовал Тебя, когда я входил в Тебя всей силой своей любви – я чувствовал, как близок Порог. И Ты смеялась от счастья. Так, как Ты, никто, никогда не радовался мне.

Флот умолк. Сиротская кровавая вода пестрела человеческими головами, как живыми минами. Ты, нежная, Ты не знаешь, что такое Зимняя Война. Ты пожимаешь плечами, улыбаешься, смеешься. Ты думаешь: кто-то там где-то там умирает. Ну и что. А я живу. Нет, Ты не живешь, если они, те, кто были там, в ледяной воде, с коченеющими мгновенно руками и ногами, умирающие от потери крови, – не с Тобой.

Но ведь они с Тобой, родная, и только потому, что я – с Тобой.

Я поднял на мачте другой флаг. Я переселился на другой корабль. Я помолился другой молитвой. Я нарастил другую кожу.

Тигр, с которым я сражался там, в снежной тайге, ушел из-под моей рогатины, и я был так рад. Он остался жив, и я остался жив. Я остался жив даже тогда, когда Ты исчезла. Но я знаю, что Ты жива, и только потому жив я.

Я видел, как громадный столб грязной воды поднимается выше мачты. Я чуял ноздрями черный удушающий дым. Как здесь нынче хорошо и свежо. Какая белизна, чистота. Белое море снега затопило все мои страданья. Я счастлив. Сейчас напялю бурки, а вот и мои лыжи. Твои – поменьше, поуже, с маленькими бурочками – стоят в углу. Бурки от них я так и не отстегнул. Будто бы Ты сейчас войдешь, засмеешься, сядешь, и я буду натягивать их Тебе на Твои теплые, горячие, маленькие, нежные, любимые, мои ноги. А Ты будешь смеяться от щекотки и счастья.

Ну, довольно. Дверь в сени – насквозь. Солнце бьет сквозь меня, сквозь Время. Дело сделано. Из-под куртки, над шеей, курится пар. Жарко. Зимой, даже жестокой, должно быть жарко, радостно ходить нараспашку. Вперед, мои ноги, несите меня к развилке дорог. Здесь, вот здесь Ты пойдешь, если приедешь – лесом, полем, потом опять лесом и косогором. И я увижу Тебя издали – тонкую, длинную, с маленькой грудью под теплой старенькой шубенкой, в ушастой заячьей шапке, слишком великой для твоего нежного и хрупкого тела.

Один я знаю Твою силу под одеждой. Твою беспобедность. Мощь Твоих округлых жарких бедер, розово-смуглых, вишневых сосцов, золотисто-медных коленей. Я целую Твои сияющие ягодицы, Твой сверкающий живот. Ты взяла все лучшее от зверей и людей. Ты вся пропитана

Богом, как хлеб – вином. Ты такая моя, что я пугаюсь себя: неужели Бог задумал увенчать меня Тобою, как терновым венцом?!

Скольку по лыжне. Это я проложил ее – для Тебя, во имя Твое. Здесь никто из охотников не ходит. Каждый день я иду по ней, и каждый день я рисую лыжной палкой Твое имя на чистом снегу. И его читают дятлы, сойки, снегири, зайцы, лисы, волки. Здесь есть волки, родная, и они так тягостно воют, душу вынимают с потрохами.

Какое Солнце под ресницами! Я контр-адмирал своей собственной Зимней Войны. И это мое Белое Снежное Море. И я плыву по нему, озираюсь, вызываю огонь на себя.

Дымный порох при разрыве страшен. Джонка идет с донесеньем сквозь стон и вой снарядов, под прикрытием тумана. Перед неприятельской разведкой по морю разбросаны мины. Я не боюсь мин. Я знаю, что семи смертям не бывать. Одна – у меня в объятьях. Раны чести – неизлечимы. Раны любви можно сшить только иглой морского ежа, если в нее продеть старую яматскую рыбацью леску, и края плохо срастутся, и рубец выйдет неровный, оголтелый, сумасшедший. Как вся наша исступленная, изрытая вдоль и поперек, сумасшедшая жизнь.

А может, родная, я – сумасшедший? Может, мне не надо так сильно любить Тебя? Лес редет. Я вылетаю на лыжах на просеку. Вижу вдали белые холмы. Через мгновение, если это правда и повозка с Тобою внутри придет, на белизне должна появиться Ты. Стою, жду. Отираю со лба пот рукавицей. Господи, жарко как. Затишье на Зимней Войне. Птицы поют. Красногрудые зимние птицы. Они меня веселят, утешают. Ты не идешь. Ты не едешь. Тебя нет на белых холмах, на серебряных тропах.

Сколько можно стоять и ждать?!

К черту.

Если рвануть с откоса вниз и подставить лыжную палку напротив груди, в подреберье, она пропорет брюшину насквозь, вколется прямо в печень.

Тогда прилетайте, снегири и сойки, клюйте кровавый сладкий комок. Прилетай, снежный орел. Приходи, тигр из Тахэ. Я – ваша еда. Я – ваше питье. Я – ваше спасенье суровой зимой, пропитанье и благо. Чья-то смерть всегда – благо для другого.

Может, Ты мне – еда, и я умру с голоду без Тебя, и я истошаю и иссохну, если не буду припадать к Тебе, и мне лишь кусочек Тебя надобно, лишь глоток, чтоб в безводной пустыне не отдать душу Богу?! Может, я всего лишь голодный, и ты хлеб мой, и ты пирог мой, и ты рыба моя, печенная в костре, и я жадно осязаю Тебя и нюхаю Тебя, и поглощенье Тебя священно для меня, и я крещусь, прежде чем пригубить, причаститься Тебя?! Неужели так все просто? Неужели я – умирающий, кто не выживет без Твоей пищи? Дай мне свой Дух. Приобщи меня аскезе и отказу. Поцелуй меня холодными, улыбающимися, изогнутыми в виде лука губами.

Я не голодный тигр. Я хочу дать Тебе себя. Влить себя – в Тебя; чтобы Ты, Ты насытилась мною; чтобы Ты зачала, понесла и родила. Пусть сочтены дни и моей крепости, и моей эскадры. Пусть я жду своей участи в белой, безмолвной гавани. Пусть мои адмиралы съехали на береговые квартиры. Флаг с изображеньем Солнца, то есть – Тебя, взвивается над моей Белой Горой, и Белый Волк воет, воет, подняв морду в зенит, воет прямо в небесный купол, воет по утопшему в ледяном озере Небесному Граду. Я натягиваю веревку сильнее, поднимая на морозе Твой флаг.

Повозка пришла – я вижу отсюда, издалека.

Тебя нет.

Еще один сверкающий день.

Еще один день сверкающей нестерпимо, ясной любви к Тебе.

Я скренился до кнехтов. Я запылал костром. Я не вообразил бы такого и в помрачении рассудка. Я требую выхода в море. В ледяные волны. Если броненосец не может стрелять по горе, он должен удалиться от берега и с пользой израсходовать снаряды.

Поединок

- Мелхола, гляди. Этих двоих нынче в джонке нашли.
- Где?
- Их прибило к берегу неподалеку от Хэтатимаро. Гляди, какие тощие. Изголодались.
- Да уж, голодные. Без сознания. Как еще продержались.
- Да, выжили. Счастлив их Бог.
- Как ты думаешь, кто они?
- Пес их знает. Должно быть, нищие.
- А если нищие, толку ли тогда с ними возиться?
- Совесть меня заест. Неси таз. Обмоем их. Влей ему в рот каплю сакэ.
- И ей тоже?
- Ей вставь в зубы кальян. Она быстрее очнется, если сделает пару-тройку хороших вдохов. Баб спиртное только усыпляет.
- Эй, мужик! На твоих ребрах можно играть, как на ксилофоне. Ну, давай, давай, глотай сакэ! Плюешь?! Не в нос?! Что башкой мотаешь?!
- Девка закашлялась. Живая.
- А память у них точно отшибло. Если не емши долго, память как отрезает. Потом она прорастает медленно, как трава. Эй ты, девчонка, как зовут тебя?!
- Не кричи ей в ухо, Вирсавия-сан, оглохнет!
- Мужик шевелится. Головой мотает. Давай, бери его за ноги, а я под мышки, оттащим от двери!
- Боишься, продует его?
- Кто войдет – упадет через него. Об кости его зацепится и растянется. Хватит глупые слова говорить! Лучше принеси два верблюжьих одеяла и две циновки! И Распятье им в изголовье.
- Почему ты решила, что они христиане?
- Ты остолопка. Не видишь, у них обоих крестики меж ключиц.
- Ой, и правда!
- Мелхола всегда говорит правду. А отца, что привез нас и бросил на этих клятых Островах, я бы убила.
- Ой, не говори так. Небо накажет тебя. – А его не накажет?! А этих злобных тварей, кто развязал Зимнюю Войну, не накажет?!
- Они оба дрожат, им холодно, знаешь что, неси-ка сюда еще мою шубку... положим их рядом, укроем их вместе, пусть спят... эй вы, люди, кончайте спать, в море отдохнули будь здоров, качались на волнах в джонке...
- ...спасибо, лодочка не дырявой оказалась...

Сенагон Фудзивара поблагодарил своих прислужниц, Вирсавию-сан и Мелхолу-сан, за добычу. Два живых иностранца, да еще русские – из страны, с коей Ямато вела кровопролитную и славную войну. Лежа на рисовых циновках, в бреду, они кричали нечто по-русски. Они протягивали руки друг другу, хватались друг за друга, вцеплялись друг другу в плечи, в одежду, ловили воздух ртами, как вытасченные из глубины рыбы. Фудзивара пожалел их. Когда они очухались и продрали глаза, он велел кормить их лучшими яствами. Повара расстарались. Через неделю скелеты приняли человеческий вид.

Русские люди были слишком слабы еще, чтобы передвигаться; они лежали на циновках, туманно глядели друг на друга. Сенагон велел разлучить мужчину с женщиной. У них не спрашивали их имен. Пришли воины в коротких красных кимоно, схватили мужчину, оттащили

прочь. Плачущую женщину подняли с циновки, подхватили под локти, повели в покои наложниц Фудзивары.

У порога она обернулась. Большие, чуть раскосые глаза ее выразили такое недоумение, страдание, любовь и крик, что выдавшие виды воины отшатнулись, как при виде ударившей близко молнии, и едва не заслонили лица ладонями.

– Скажи мне, ты лазутчик?

– Если бы я был шпионом, уважаемый сенагон, я бы не церемонился, чтобы быстрее заработать почетный удар вашим самурайским четырехгранным мечом.

– Только сумасшедший или очень хорошо, в традициях, воспитанный человек может желать себе скорейшей смерти.

– Значит, я воспитан так же, как ваши камикадзе.

– Я бы хотел иметь при себе такого храброго воина, как ты.

– Я никогда не служил никому, кроме моего Царя, моей Родины и моего Бога.

– Похвально, солдат.

– Я не солдат. Я матрос.

– Я узнал хоть что-нибудь. Итак, ты моряк.

– Да, ваша светлость, моряк.

– Ты титулуешь меня, но я не ваш русский князь. Сенагон много выше князя.

– Вы ничего плохого не сделаете с женщиной, что была со мной в лодке?

– Почему ты о ней так беспокоишься? Она жена тебе?

– Она мне больше чем жена.

Молчанье летало меж них яркими, невесомыми огромными бабочками.

Сенагон протянул руку.

– Видишь, сколько шрамов?

– Вижу, ваша светлость.

– Это боевые шрамы. Меня нельзя назвать трусом.

– Я и не сомневаюсь, что вы не трус, сенагон.

Ни взгляд, ни голос Василия не дрогнули. В округлых нефритовых курильницах чуть вился дым. Воины, недвижно стоявшие вдоль стен с мечами в руках, равнодушными узкими глазами глядели на беседующих.

Фудзивара встал. Ого, рослый, грозный мужик. И халатишко на нем шелковый драконами расшит. И волосья умащены благовоньями. И на безволосой груди – в медном медальоне с фигуркой веселого Будды – небось, прядка волос самой любимой из жен запрятана.

– А если я тебе скажу, что мне эта, твоя, более чем жена, понравилась? Что, если я ее хочу в наложницы взять?

В узких жестоких глазах не сверкало ни гнева, ни ярости, ни хохота. Темны, непроницаемы и равнодушны, глядели в белый свет кинжальные прорезы. Сенагон будто испытывал Василия: хочешь – верь, хочешь – так понимай, что я над тобою издеваюсь.

Моряк поднял голову. Над людскими затылками висела, чуть качаясь на сквозняке, позванивала неслышными хрустальными висюльками неслышанной величины люстра – что ж, и у восточного владыки должно быть все по-европейски, по мировой моде.

Выстрелить бы в люстру из револьвера. Чтоб рассыпалась в пух. Чтобы посыпались на плиты пола отчаянные осколки – тысячи стекол, звонов, искр, слез. Чтоб раз и навсегда настала глубокая, бесконечная тьма.

– Я услышал то, что услышал. Я все понял. Если ты хочешь, я буду сражаться с тобой.

Фудзивара вздернул голову. Безусое, гладко выбритое лицо. Если это лицо хоть на миг прикоснется к ее лицу, он приползет откуда угодно, чтобы всадить кулак в блискучую смуглую гладкость, в надменную улыбку змеи. Он прогрызет зубами подземный ход вон из темницы.

– Ты? Сражаться?! – Брови сенагона вздернулись, зуб блеснул между ухмыльнувшихся губ. – Ты можешь сражаться самурайским мечом?! Русский моряк не владеет яматским мечом. Русский моряк...

Он шагнул вперед. Тьма застлала ему глаза. Он протянул руку, словно цепляя невидимую рукоять оружия.

– ...будет сражаться любым оружием, сенагон, если речь идет о его жизни. Дай мне меч! На лице Фудзивары слабо обозначилось удивленье.

– ...о твоей жизни?.. Что ты сболтнул... Разве женщина – это жизнь? Из-за бабы на мечях биться?!.. Тебе что, мало моих?.. возьми любую... Женщины, кони, драгоценности, вина, деньги – все это, моряк, наживное, все это приходит и уходит в жизни человека, независимо от того, богат он или беден. Ты спятил – из-за женщины!.. да я убью тебя одним взмахом, первым...

Он по-прежнему держал руку протянутой, с растопыренной ладонью, чтоб туда вложили рукоять меча; и рука не дрожала.

Тогда безмолвный самурай, тот, что стоял ближе всех к роскошному креслу, в котором восседал в ярком атласном одеянье знаменитый на весь остров Кэй и на всю великую империю Ямато сенагон Фудзивара, бесшумно отступил на шаг от стены, преклонил колено и протянул безумному чужеземному моряку, так хорошо, хоть и смешно, с присвистом, говорившему по-яматски, длинный четырехгранный тяжелый меч, уже обнаженный, с лязгом вынутый из изукрашенных аквамаринами и жемчугами старинных узорных ножен.

Фудзивара одним рывком поднялся с кресла.

– Считаю, негодяй, что ты уже мертвец, – процедил он одной глоткой, не размыкая губ и челюстей. – Счастливчик, кто примет смерть из моих рук.

– Из рук сенагона Фудзивары Риноскэ, любимца великой и милостивой Аматерасу!.. – застонали, заблеяли, заквакали вытянувшиеся струнами вдоль стен, обитых осакским шелком, доколе молчание самураи.

Василий крепко сжал меч. О да, тяжеленький, не скажешь ничего.

Он вспомнил, как мальчишкой, в деревне, валял дурака, гонял гусей игрушечным деревянным мечом, самолично им выточенным из березового полена. Вспомнил все драки, где ему разбивали нос, где точно и жестоко бил в грудь, под дых и в скулу он сам, защищая чужого, защищая родного, защищая себя. Человеческое тело. Оно бросается вперед, ищет гибели. Оно не хочет быть убитым – убивают его. На черта он полез на рожон к наглому яматскому князьку?! Все лучше, чем сгноить свои кости в тюрьме.

Ты дурак, Василий. Ведь если тебя убьют, ей от твоей гибели легче не станет. Ей сломают руки, все равно кинут на сенагонскую циновку, на вышитый пионами, оленями и хризантемами ковер. А твое тело кинут в море; оно обнимает остров Кэй, как ты недавно обнимал свою Лесико. И ты пойдешь на корм рыбам. Морские звезды станут ползать по тебе. Мальки – клевать твои шевелящиеся под водой волосы, ресницы. Почему ты не подорвался на mine?! На торпеде?!

Он сжал меч в кулаке так, что пальцы побелели.

– Давай, сенагон! – по-русски заорал, натужно и страшно, приседая и примеряясь к выпадку, поедая противника глазами. – Где же твой меч! Мне все равно нечего терять, кроме жизни! Но убью тебя – я!

Она оказалась во тьме. Темная комната, темный покой, темный дворец. Высокие потолки. Ходят, бродят огни, свечи, красные китайские фонарики в руках, в пальцах быстрых,

смешливых теней. Тени перебегают с места на место. Переговариваются нежными девичьими голосами. С нее содрали одежды, обнажили. О, да тут вода. Бассейн. Ее тянут туда, в воду, вниз. Перламутровый блеск, тихий плеск. Купанье насильное. Она чуть не тонет в теплой пресной воде, едва не захлебывается; откуда-то сверху на нее льется струя кипятка, и пар вьется вокруг ее мокрой головы, и мыльная пена встает вокруг мокрых вьющихся кос жемчужной короной. Ее вытаскивают из воды, ухватив за подмышки, и ноги ее болтаются в воздухе, как рыбы хвосты, плавнички. Нету сил ни смеяться, ни плакать. После того, как они чудом выжили в море, в лодке, и чудом были спасены, она еще не набралась сил: мало ела, мало спала. Все глядела вверх, в потолок, широкими бессонными глазами. Искала руку Василия. Крепко сжимала ее. Их растащили. Их разъединили. Зачем ее купают в тайном ночном мраморном бочонке?!

Ее растерли досуха жесткими полотенцами. Втерли в тело пахучие мази, капли драгоценных масел – розового и пихтового. Ты понимаешь, понятливая Лесико, для чего так стараются над тобой, так хлопчут. Будь терпелива, и ты узнаешь разгадку.

Она в бессознание подняла руку. В мокрых завившихся прядях кончики дрожащих пальцев нащупали родное тонкое острие. Какому Богу, русскому или яматскому, надо ей теперь помолиться? Ее кинжальчик сохранился у ней на затылке лишь потому, что она привязала его рукоять суровой ниткой к уху, и нитка не развязалась и не перетерлась. Та, кто мыла ей голову, сто раз уже напоролась ладошкой на острую стальную иголку, но ни слова не сказала. И даже не вздохнула испуганно. Значит, здешние девушки знают толк в убийствах. Они накрутили ей на голову полотенце. Спрятали нож в тканевом сугробе.

«Иди сюда, иди сюда!..»

«Зачем тебе тревожиться, ведь ты уже в чертогах дивной Итакамо...»

«Все, кто попадает сюда, отсюда больше не выходят на белый свет, на вольный воздух... Если тебе станет слишком тяжело – Фудзивара даст тебе возможность выбрать смерть самой и умереть достойно, так, как умирают наши мужчины... Женщина равна с мужчиной лишь в одном – в выборе собственной смерти...»

«Мы научим тебя вспарывать себя по всем правилам древней науки. Ты будешь владеть мечом так, так владела им сама луноликая Токанагу. Это женское царство. Ты полюбишь свою смерть, если не полюбишь нашу жизнь».

«Фудзивара научит тебя любить жизнь!.. Ох, научит!..»

Смешки висели в воздухе, роились. Пчелы пальцев, дуновенья тонких волос и ароматов перелетали с лица на лицо, с цветка на цветок. О бабье царство. Когда много женщин перешептываются, пересмеиваются, целуются, горят щеками, – сон налетает на бьющуюся в путах душу.

ГОЛОСА:

Когда я увидела ее в лодке, в беспмятстве... она лежала рядом с мужиком, оба были так худы, ребра торчали из них, как лезвия ножей... я подумала: как хороша!.. через все безобразье страданья, голода, бреда, обметанных лихорадкой губ в засохшей сукровице – она кусала их, кричала, звала на помощь... какая красота живучая, какая сила красоты... не понять уму!.. их прибило в джонке к берегу, мы с Мелхолой растерли их спиртом, потом погрузили в лодчонку нашего дурака отца, зацепили лодчонку багром, прицепили к своей маленькой лодке, я дала наказ гребцу: гребите к Фудзиваре, на Остров Кэй, в крепость!.. нас вознаградят, мы нашли в море людей, – а за что?.. Если красоте отрубят голову – это справедливо?!.. Мы плыли, уключины скрипели, я держала багром лодчонку с недвижными отоцавшими донельзя телами. Зачем мы вливали им в зубы сакэ?! Зачем растирали их, укутывали в одеяла?! Для новых страданий?!.. Красота не должна страдать, Мелхола!.. – крикнула я и зарыдала, и ночное море плескалось вокруг, а Мелхола сказала, что я старая истеричка. Нет, я не старая!

Я еще молодая! Я еще... замуж выйду... На лицах вытасненных с того света мертвецов светила такая любовь, такое счастье, такое... я поняла: мечтают о счастье тысячи людей, а дается оно одним-единственным... Я взяла весло, ударила им Мелхолу и сказала: замолчи!.. еще слово – и я сброшу тебя в море, и это тебя, твоё тело найдут завтра рыбаки утром на дне залива, у рифов... Мелхола зажала себе рот ладошкой, я держала багор цепко, лодки взрезали черную поверхность соленой большой воды... Потом Мелхола стала держать багор, а я вынула из-за пазухи апельсин, стала чистить его, вдыхать аромат спирта, исходящий от фрукта, и бросать яркие, огненные кожурки во мрак моря. И это тоже было красиво. И красота была вокруг, везде. И я подумала со страхом, что, может быть, и я сама тоже красива и не сознаю этого, а Мелхола говорит с завистью, зло, что у меня красивые длинные синие глаза, пышные черные волосы... И я испугалась горящей, царящей вокруг меня в ночи красоты, и попросила истощенных недвижимых людей в лодчонке: очнитесь скорее, станьте плохими, ужасными, безобразными, отнимите от меня муку красоты, красота невыносима, ее трудно перенести...

Сенагону быстро подали меч, такой же длины и тяжести, как и у Василия.

Они стали друг против друга. Моряк увидал, как узкие щели глаз Фудзивары впервые вспыхнули жутким, зелено-призрачным, замогильным светом.

«Эх, не поем перед смертушкой ни любимой жареной картошечки нашей, деревенской, ни родного молочка не попью... до чего тоска! А впереди доска... что там доска – морские соленые волны, камень на шею привяжут, чтоб не всплыл, чтоб морские звери быстрее сожрали... Ну, Лесико! Помяни меня во царствии своем...»

Он знал, что без него она жить на свете не будет.

Но и отступать уже было поздно, бессмысленно и позорно.

Он присел, выставив меч впереди себя, держа его перед глазами правой рукой за рукоять, а левой – за острие. Он будто защищал мечом свое лицо.

И верно сделал – выпад сенагона был неуловим и страшен. Всея тяжестью синяя молния меча Фудзивары обрушилась на меч Василия. Звон, искры полетели; моряк прыгнул в сторону, повел в воздухе тяжеленным оружием медленно, будто дразня опытного в сраженьях яматца. Тот изумленно, исподлобья поглядел на иноземца, зазнавшегося от первого, случайного успеха. Принял позу летящего над горами орла – растопырил, раскинул руки, и меч завис над его плечом, и свет от люстры ударил в вороненую сталь, заставляя наблюдателей прижмурить веки.

– Эй! Бездельники! – прогремел сенагон на все покои дворца. – Распахнуть двери, окна немедленно! Там, снаружи, Солнце! Пусть оно увидит, как я сейчас раскрою череп приبلудному русскому псу!

Слуги повиновались. Стекла полетели прочь, створки затрещали. Лучи ворвались в залу, забивая насмерть тусклый блеск стекляшек люстры. Вместе со светом ворвался и воздух – свежий, соленый ветер с моря. Обдул насмешливо страшные, горячие и красные мужские лица.

Василий ощущал запах собственного пота. Проклятая испарина. Ладонь скользила по рукояти. Только бы не выронить оружие. И как это самураи их носят на поясе; и как еще ими сражаются. Ну да, их учат сызмальства. Натаска, привычка, уменье. А он – куда он со свиным-то рылом да в калашный ряд?!

Он сделал нелепый, непонятный выпад – будто хотел рухнуть на сенагона всем телом, будто уже ранен был или мертвеньким захотел притвориться: стал падать на Фудзивару, вперед, расширив беззвучно орущий рот, не сгибая коленей, занеся меч высоко над головой, и грудь его сейчас была беззащитной – руби не хочу, – и искусный Фудзивара обрадовался было, резанул лезвием воздух поперек такого соблазнительно близкого ребра Василия, да на

волос просвистело лезвие, не рассчитал мгновенья сенагон, сильнее обычного сузил свой хрустально-зрячий, алмазный глаз, – и Василий понял, изловчился, отскочил, снова присел на обе ноги, подобно лягушке, жабе распластанной, и вдруг выпрямился, вытянулся во весь рост стрелой, откинул голову, одним сильным рывком поднял неподъемный меч, ухватил его обеими руками и рубанул им сплеча наискосок, будто дождь посек голое черное пространство вокруг врага; а враг присел в это время как раз, и описал меч Василия бестолковый круг над бритой головой сенагона, и вырвался из груди сенагона хриплый победный клич: О-ха-и!” – и, отпрыгнув назад на локоть, Фудзивара затряс, замотал своим мечом так часто и мелко перед грудью, перед животом моряка, будто и не меч это был вовсе, а легкие, бестелесные деревянные нун-чаки; и полетели от меча, от блестящего в солнечных лучах лезвия, от всех четырех страшных граней тысячи колючих искр, и не мог Василий оторвать взгляда от великой молнии смерти, бьющейся перед ним в диковинном танце, в неистовой пляске, и один выход оставался ему – ударить железом по железу, остановить дикую пляску смерти, прекратить навсегда.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.